МЕМУАРЫ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ ЭФРОН

АВТОБИОГРАФИЯ. ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА



С. Я. Эфрон

Автобиография
Записки добровольца

Под редакцией Л. М. Суриса



Москва
Берлин
2016

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6
Э94

Эфрон, С. Я.
Э94 Автобиография. Записки добровольца / С. Я. Эфрон ; под ред. Л. М. Суриса – М. ; Берлин : Директ-Медиа, 2016. – 157 с.

ISBN 978-5-4475-8647-8

Автобиография написана в Феодосии в 1914 г.

Сборник содержит воспоминания и литературные работы Сергея Яковлевича Эфрона (1893–1941) – яркого российского публициста, поэта и писателя, супруга Марины Цветаевой. «Автобиография» была написана Эфроном в 1914 г. В «Записки добровольца» вошли очерки 1920-х гг., посвященные Белому движению.

УДК 94(47)
ББК 63.3(2)6

ISBN 978-5-4475-8647-8

АВТОБИОГРАФИЯ

Первые детские воспоминания мои связаны со старинным барским особняком в одном из тихих переулков Арбата,[1] куда мы переехали после смерти моего деда П. А. Дурново – отставного гвардейца Николаевских времен. Это было настоящее дворянское гнездо. Зала, с двумя рядами окон, колоннами и хорами; стеклянная галерея; зимний сад; портретная, увешанная портретами и дагерротипами в черных и золотых овальных рамах; заставленная мебелью красного дерева диванная; тесный и уютный мезонин, соединенный с низом крутой и узкой лесенкой; расписные потолки; полукруглые окна все это принадлежало милому, волшебному, теперь уже далекому прошлому.

При доме был сад с пышными кустами сирени и жасмина, искусственным гротом и беседкой, в разноцветные окна которой весело било солнце. Чуть только начинала зеленеть трава, я убегал на волю, унося с собою то сказки Андерсена, то «Детские годы Багрова-внука»,[2] а позднее какой-нибудь томик Пушкина в старинном кожаном переплете. Я помню огромное впечатление от стихотворения «К морю». Никогда еще не виденное море вставало передо мною из прекрасных строк поэта, – то тихое и голубое, то бурное, Я бредил им и всем существом стремился наконец узнать «Его брега, его заливы, и блеск, и шум, и говор волн».

Моим чтением руководила мать. Часто по вечерам она читала мне вслух. Так я впервые познакомился с, «Вечерами на хуторе близ Диканьки», «Повестями Белкина», «Капитанской дочкой», «Записками охотника» и

---

1 Гагаринский переулок

2 Аксаков С. Т.

другими доступными моему возрасту образцовыми произведениями русской литературы.

Десяти лет я поступил в 1-й класс частной гимназии Поливанова, – Этим заканчивается мое раннее детство. На смену сказочной, несколько замкнутой жизни выступила новая, более реальная. Появились школьные интересы, товарищи и новые через них знакомства, но чтение по-прежнему оставалось моим излюбленным препровождением времени. Легко возбуждающийся и болезненный, я до того уставал от долгого сидения в классе, что с трудом мог заниматься дома. Частая лихорадка, головные боли, сильное малокровие – все это отнимало много сил. Самолюбие не давало мне спать. – «Быть первым в классе!» Кто из вновь поступивших не мечтал об этом?! Я знал не меньше своих товарищей, но шел неровно. Приходилось много догонять, и только я начинал чувствовать себя на твердой почве, как новый приступ слабости сразу лишал меня всего достигнутого.

В гимназии Поливанова я пробыл пять лет, переболев за это время почти всеми детскими болезнями. Внезапная и почти одновременная утрата родителей окончательно расшатала мое здоровье. Дом продали, – прежняя жизнь рушилась. Разбитый и усталый я выехал в Петербург. Вся моя последующая жизнь – непрерывное лечение. Обнаруженный у меня петербургскими докторами туберкулез легких требовал немедленного и строжайшего санаторского режима. Начались скитания по русским и заграничным санаториям.

С утра до вечера, лежа на chaise longue,[3] я читал, думал и главное – вспоминал. Мелькали лица, звенели голоса, из отдельных слов слагались фразы, воскресали целые беседы; вставали сцены недавнего милого про-

---

[3] шезлонг (фр.)

шлого. Понемногу я стал их записывать. Из этих приведенных в порядок воспоминаний составилась книга рассказов «Детство», вышедшая из печати, когда мне исполнилось 18 лет.

За четыре года моей болезни я читал и перечитывал Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Достоевского, Л.Толстого и иностранных классиков. Из русских поэтов моим любимым оставался Пушкин – «России первая любовь», как сказал о нем Тютчев. Из прозаиков больше всего волновали меня Достоевский и Толстой, связанные друг с другом самыми драгоценными свойствами – глубиной и полной искренностью.

С 17 лет я понемногу принялся за подготовку к экзаменам на аттестат зрелости, которые думал держать прошлой весной при Московском Лазаревском Институте Восточных Языков. За месяц до экзаменов мне, однако, по болезни пришлось уехать в Крым. После курса лечения в Ялтинской Санатории Александра III и удачно перенесенной операции аппендицита на туберкулезной почве, я в настоящее время заканчиваю подготовку на аттестат зрелости.[4]

Автобиография написана в Феодосии в 1914 г.

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

Исполнительная Комиссия
Рождественского района
Петроград
Мытнинская ул. д. 3, тел. 66
9 апреля 1917 г. Ns 463

---

[4] С. Эфрон успешно сдал экзамены в Феодосийской гимназии и получил аттестат зрелости 19 июня 1914 г.

УДОСТОВЕРЕНИЕ

Настоящее выдано юнкеру Сергею Яковлевичу Эфрон в том, что он и отец его мне лично известны и оба родились в русском подданстве.

Комиссар Рождественского района
Комитета Государственной Думы и Совета
Рабочих и Солдатских Депутатов
А. Трупчинский

Печать: Комиссариата Рождественского района.

ЦГВИА, ф. 409, оп. I, д. 185413, л.4

ОПИСЬ
препровождаемых документов

бывшего студента
Эфрона Сергея

Аттестат зрелости за № 1049

Паспортная книжка за № 387

Секретарь по студенческим делам Подпись

ЦГВИА, ф. 409, оп. I, д. 185413, л.5

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

1-го подготовительного учебного батальона
Эфрона Сергея Яковлевича

Прибыл и зачислен в списки 1-го подготовительного батальона 4-й роты

1917

января 24

Приказ по батальону № 25, § 8

Отправлен в 1-ю Петергофскую школу прапорщиков. Исключен из списков батальона. Приказ по батальону № 50

февраля 11

ПОСЛУЖНОЙ СПИСОК

лист 1

1-й Петергофской школы для ускоренной подготовки офицеров 2-й роты

Эфрона Сергея Яковлевича

Звание или сословия к которому причислен

Сын купца гор. Подольска

Год, месяц и число рождения

1893, сентября, 29 дня

Вероисповедание

Православное

(Семейное положение)

Женат на Марине Ивановне, православной. I ребенок

К какому разряду причислен по образованию

К 1-му разряду. Окончил Феодосийскую гимназию. Свидетельство за № 1049 от 19 июня 1914 г.

Занятие, ремесло или промысел

Студент

По мобилизации принят на военную службу Московским уездным воинским начальником

1916 г. мая 10

Прибыл и зачислен в списки

1-го Подготовительного учебного батальона

1917 г. января 24

Командирован в 1-ю Петергофскую школу прапорщиков для прохождения курса февраля 11

Прибыл в школу и зачислен во 2-ю роту юнкером февраля 17

Переведен из 2-го в 1-й

Разряд по поведению

Июня 15

Произведен в войсковые унтер-офицеры июня 15

Центральный Государственный военно-исторический архив, фонд 409, опись I, дело 259999.

ЗАПИСКИ ДОБРОВОЛЬЦА

ОКТЯБРЬ (1917 г.)

«…Когда-б на то не Божья воля,
не отдали-б Москвы!»[5]

Это было утром 26 октября. Помню, как нехотя я, садясь за чай, развернул «Русские Ведомости» или «Русское Слово»,[6] не ожидая, после провала Корниловского выступления, ничего доброго.[7]

На первой странице бросилась в глаза напечатанная жирным шрифтом строчка:

– Переворот в Петрограде. Арест членов Временного правительства. Бои на улицах города.

Кровь бросилась в голову. То, что должно было произойти со дня на день, и мысль о чем так старательно отгонялась всеми – свершилось.

Предупредив сестру (жена в это время находилась в Крыму), я быстро оделся, захватил в боковой карман шинели револьвер Ивер и Джонсон и полетел в полк, где, конечно, должны были собраться офицеры, чтобы сговориться о ближайших действиях.[8]

---

[5] М. Ю. Лермонтова «Бородино»

[6] Ежедневные газеты, выходившие в Москве

[7] Выступление войск под командованием Верховного главнокомандующего генерала Л.Г. Корнилова (25 августа 1917 г.). После подавления выступления Л.Г. Корнилов и другие видные военачальники – генералы А.И. Деникин, А.С. Лукомский, С.Л. Марков, И.Г. Эрдели и др. – были арестованы Временным правительством и заключены в тюрьму.

[8] После окончания 1-й Петергофской школы прапорщиков, С.Я.Эфрон был зачислен в 10-ю роту 56-го пехотного запасного полка Московского Военного Округа, дислоцированного в Москве: в Кремле и в Покровских казармах (Покровский бульвар).

Я знал наверное, что Москва без борьбы большевикам не достанется. Наступил час, когда должны были выступить с одной стороны большевики, а с другой – все действенное, могущее оказать им сопротивление. Я недооценивал сил большевиков, и их поражение казалось мне несомненным.

Мальчишеский задор, соединенный с долго накапливаемой и сдерживаемой энергией, давали себя чувствовать так сильно, что я не мог побороть лихорадочной дрожи.

Ехать в полк надо было к Покровским воротам трамваем. Газетчики поминутно вскакивали в вагон, выкрикивая страшную весть. Газеты рвались нарасхват. С жадностью всматривался я в лица, стараясь прочесть в них, как встречается москвичами полученное известие. Замечалось лишь скрытое волнение. Обычно столь легко выявляющие свои чувства – москвичи на этот раз как бы боялись выказать то или иное отношение к случившемуся. В вагоне царило молчание, нарушаемое лишь шелестом перелистываемых газет.

Я не выдержал. Нарочно вынул из кармана газету, сделал вид, что впервые читаю ее и, пробежав несколько строчек, проговорил громче, чем собирался:

– Посмотрим. Москва – не Петроград. То, что легко было в Петрограде, на том в Москве сломают зубы.

Сидящий против меня господин улыбнулся и тихо ответил:

– Дай Бог!

Остальные пассажиры хранили молчание. Молчание не иначе мыслящих, а просто не желающих высказаться.

Знаменательность этого молчания я оценил лишь впоследствии.

Мрачное старое здание Покровских казарм. Перед казармами небольшой плац. Обычный будничный вид.

Марширующие шеренги и взводы. Окрики и зычные слова команды.

– Взво-о-од кру-у-гом! На пра-а во! «Голову выше!», «Ноги не слышу!» и т. д. Будто бы ничего и не случилось. В то время как почти наверное уже завтра Москва будет содрогаться от выстрелов.

Прохожу в свою десятую роту. По коридорам подметают уборщики. Проходящие солдаты отдают честь. При моем появлении в роте раздается полагающаяся команда. Здороваюсь. Отвечают дружно. Подбегает с рапортом дежурный по роте.

Подходит фельдфебель – хитрый хохол Марченко.

– Как дела, Марченко? Все благополучно?

– Так точно, г-н прапорщик. Происшествий никаких не случилось. Все слава Богу.

По уклончивости взгляда и многозначительности интонации – вижу, что он все знает.

– Из г-под офицеров никто не приходил?

– Всех, г-н прапорщик, в собрании найдете. Туда всех созвали.

Оглядываю солдат. Ничего подозрительного не замечаю и направляюсь в офицерское собрание.

* * *

В небольшом помещении собрания – давка. С большим трудом протискиваюсь в середину. По лицам вижу, что настроены сдержанно, но решительно. Собрание протекает напряженно, но в полном порядке. Это скорее частное совещание. Командиры батальонов сообщают, что по батальонам тихо, и никаких выступлений ожидать не приходится. Кто-то из офицеров спрашивает, приглашен ли командир полка.[9] Его ждут

---

[9] К-р полка обычно на собрании офицеров не присутствует. (Прим. автора).

с минуты на минуту. До его прихода офицеры разбиваются на группы и делятся своими мыслями о случившемся. Большинство наивно уверено в успехе несуществующих антибольшевицких сил.

– Вы подсчитайте только, – кипятится молодой прапорщик, – в нашем полку триста офицеров, а всего в Московском гарнизоне тысяч до двадцати. Ведь это же громадная сила! Я не беру в счет военных училищ и школ прапорщиков. С одними юнкерами можно всех большевиков из Москвы изгнать.

– А после что? – спрашивает старый капитан Ф.

– Как, после что? – возмущается прапорщик. – Да ведь Москва-то, это – все. Мы установим связь с казаками, а через несколько дней вся Россия в наших руках.

– Вы говорите, как ребенок, – начинает сердиться капитан. – Сейчас в Совете Раб. Деп. идет работа по подготовке переворота, и я уверен, что такая же работа идет и в нашем полку. А что мы делаем? Болтаем, болтаем и болтаем. Керенщина проклятая! – и он, с раздражением отмахнувшись, отходит в сторону.

В это время раздается возглас одного из к-ров батальонов: «Господа офицеры». – Все встают. В собрание торопливо входит в сопровождении адъютанта[10] (впоследствии одного из первых перешедшего к большевикам) командир полка.[11]

Маленький, подвижный и легкий, как на крыльях, с подергивающимся после контузии лицом, с черной повязкой на выбитом глазу, с белым крестиком на груди. Обводит нас пытливым и встревоженным взглядом своего единственного глаза. Мы чувствуем, что он принес нам недобрые вести. – Простите, господа, что заставил себя ждать, – начинает он при наступившей

---

[10] Прапорщик А. И. Сцислицкий.

[11] Пекарский Александр Павлович.

мертвой тишине. – Но вина в этом не моя, а кто виноват – вы сами узнаете.

В первый раз мы видим его в таком волнении. Говорит он прерывающимся голосом, барабаня пальцами по столу.

– Вы должны, конечно, все понимать, сколь серьезно сейчас положение Москвы. Выход из него может быть найден лишь при святом исполнении воинского долга каждым из нас. Мне нечего повторять вам, в чем он заключается. Но, господа, найти верный путь к исполнению долга бывает иногда труднее, чем самое исполнение его. И на нашу долю выпало именно это бремя. Я буду краток. Господа, мы – к-ры полков, предоставлены самим себе. Я беру на себя смелость утверждать, что командующий войсками – полковник Рябцов[12] – нас предает. Сегодня с утра он скрывается. Мы не могли добиться свидания с ним. У меня есть сведения, что в то же время он находит досуг и возможность вести какие-то таинственные переговоры с главарями предателей. Итак, повторяю, нам придется действовать самостоятельно. Я не могу взять на свою совесть решения всех возникающих вопросов единолично. Поэтому я прошу вас определить свою ближайшую линию поведения. Я кончил. Напомню лишь, что промедление смерти подобно. Противник лихорадочно готовится. Есть ли какие-либо вопросы?

О чем было спрашивать? Все было ясно.

После ухода полковника страсти разгорелись. Часть офицеров требовала немедленного выступления, ареста главнокомандующего, ареста совета, другие склонялись к выжидательной тактике. Были среди нас два офицера, стоявших и на советской платформе.

---

12 Рябцев Константин Иванович – командующий Московским Военным Округом (с июля 1917 г.), эсер.

Проспорив бесплодно два часа, вспомнили, что у нас в Москве есть собственный, отделившийся от рабочих и солдатских – Совет офицерских депутатов. Вспомнили и ухватились, как за якорь спасения. Решили ему подчиниться ввиду измены командующего округом, поставить его об этом в известность и ждать от него указаний. Пока же держать крепкую связь с полком.

* * *

Я вышел из казарм вместе с очень молодым и восторженным юношей – прап. М., после собрания пришедшим в возбужденно-воинственное состояние.

– Ах, дорогой С. Я., если бы вы знали до чего мне хочется поскорее начать наступление. А потом, отдавая должное старшим, я чувствую, что мы, молодежь, временами бываем гораздо мудрее их. Пока старики будут раздумывать, по семи раз примеривая, все не решаясь отмерить – большевики начнут действовать и застанут нас врасплох. Вы идете к себе на Поварскую?[13]

– Да.

– Если вы не торопитесь – пройдемте через город и посмотрим, что там делается.

Я охотно согласился. Наш путь лежал через центральные улицы Москвы. Пройдя несколько кварталов, мы заметили на одном из углов группу прохожих, читавших какое-то объявление. Ускоряем шаги.

Подходим. Свеже-приклеенное воззвание Совдепа. Читаем приблизительно следующее:

«Товарищи и граждане!

Налетел девятый вал революции. В Петрограде пролетариат разрушил последний оплот контррево-

---

[13] С 1914 по 1922 гг. М.И. Цветаева и С.Я. Эфрон снимали квартиру в Борисоглебском переулке, рядом с Поварской улицей.

люции. Буржуазное Временное правительство, защищавшее интересы капиталистов и помещиков, арестовано. Керенский бежал. Мы обращаемся к вам, сознательные рабочие, солдаты и крестьяне Москвы, с призывом довершить дело. Очередь за вами. Остатки Правительства скрываются в Москве. Все с оружием в руках – на Скобелевскую площадь[14] к Совету Р. С. и Кр. Деп. Каждый получит определенную задачу».

Ц. И. К. М. С. Р. С. и К. Д.[15] Читают молча. Некоторые качают головой. Чувствуется подавленное недоброжелательство и, вместе с тем, нежелание даже жестом проявить свое отношение.

– Чорт знает что такое! Негодяи! Что я вам говорил, С. Я.? Они уже начали действовать!

И, не ожидая моего ответа, пр. М. срывает воззвание.

– Вот это правильно сделано, – раздается голос позади нас.

Оглядываемся, – здоровенный дворник, в белом фартуке, с метлой в руках, улыбка во все лицо.

– А то все читают да головами только качают. Руку протянуть, сорвать эту дрянь – боятся.

– Да как же не бояться, – говорит один из читавших с обидой. – Мы что? Махнет раз и нет нас. Господа офицеры – дело другое – у них оружие. Как что – сейчас за шашку. Им и слово сказать побоятся.

– Вы ошибаетесь, – отвечаю я. – Если, не дай Бог, нам придется применить наше оружие для самозащиты, поверьте мне, и наших костей не соберут!

Мой спутник М. пришел в неистовый боевой восторг. Очевидно ему показалось, что наступил момент

---

14 Там, в доме генерал-губернатора размещался Военно-Революционный комитет, руководивший в октябре 1917 г. боевыми действиями революционных частей в Москве.

15 Центральный исполнительный комитет московского Совета Рабочих, Солдатских и Крестьянских Депутатов.

открыть военные действия. Он обратился к собравшимся с целою речью, которая заканчивалась призывом – каждому проявить величайшую сопротивляемость «немецким наймитам – большевикам». А в данный час эта сопротивляемость должна была выразиться в дружном и повсеместном срывании большевицких воззваний. Говорил он с воодушевлением искренности и потому убедительно. Его слова были встречены общим, теперь уже нескрываемым, сочувствием. – Это правильно. Что и говорить! – На Бога надейся, да сам не плошай!

– Эти бумажонки обязательно срывать нужно. Новое кровопролитство задумали – окаянные!

– Все жиды да немцы – известное дело, – им русской крови не жалко. Пусть себе льется ручьями да реками!

Какая-то дама возбужденно пожала наши руки и объявила, что-только на нас, офицеров, и надеется.

– У меня у самой – сын под Двинском! Наша группа стала обрастать. Я еле вытянул М., который готов был разразиться новой речью.

– Знаете, С. Я., – мы теперь будем идти и по дороге все объявления их срывать! – объявил он мне с горящими глазами.

Мы пошли через Лубянку и Кузнецкий Мост. В городе было еще совсем тихо, но, несмотря на тишину, – налет всеобщего ожидания. Прохожие внимательно осматривали друг друга; на малейший шум, гудок автомобиля, окрик извозчика – оглядывались. Взгляды скрещивались. Каждое лицо казалось иным – любопытным: свой или враг?

Обычная жизнь шла своим чередом. Нарядные дамы с покупками, спешащий куда-то деловой люд, даже фланеры Кузнецкого Моста вышли на свою традиционную прогулку (время было между 3-мя и 4-мя).

Мы с М. не пропустили ни одного воззвания.

Здесь прохожие – сплошь «буржуи», не стесняясь, выражали свои чувства. На некоторых домах мы находили лишь обрывки воззваний: нас уже опередили.

С Дмитровки свернули влево и пошли Охотным рядом к Тверской, с тем чтобы выйти на Скобелевскую площадь – сборный пункт большевиков. Здесь характер толпы уже резко изменился. «Буржуазии» было совсем мало. Группами шли солдаты в расстегнутых шинелях, с винтовками и без винтовок. Попадались и рабочие, но терялись в общей солдатской массе. Все шли в одном направлении – к Тверской. На нас злобно и подозрительно посматривали, но затрагивать боялись.

Я уже начал раздумывать – стоит ли идти на Тверскую, как неожиданное происшествие заставило нас ознакомиться на собственной шкуре с тем, что происходило не только на Тверской, но и в самом Совдепе.

* * *

На углу Тверской и Охотного ряда группа солдат, человек в десять, остановилась перед злополучным воззванием. Один из них громко читает его вслух.

– С. Я., это-то воззвание мы должны сорвать!

Слова эти были так произнесены, что я не посмел возразить, хотя и почувствовал, что сейчас мы совершим вещь бесполезную и непоправимую.

Подходим. Солдат, читавший вслух, умолкает. Остальные с задорным любопытством нас оглядывают. Когда мы делаем движение подойти ближе к воззванию – со злой готовностью расступаются (почитай мол, что тут про вашего брата – кровопивца – написано).

На этот раз протягиваю руку я. И сейчас ясно помню холодок в спине и пронзительную мысль: это – са-

моубийство. Но мною уже владеет не мысль, а протянутая рука.

Раз! Комкаю бумагу, бросаю и медленно выхожу из круга, глядя через головы солдат. Рядом – звонкие шаги М., позади – тишина. Тишина, от которой сердце сжалось. Знаю, что позади много солдатских голов смотрят нам вслед и что через мгновение начнется страшное и неминуемое. Помоги, Господи!

Скашиваю глаза в сторону пр. М. Лицо его мертвенно бледно. И ободряющая мысль – «хорошо, что мы вдвоем» (громадная сила – «вдвоем»).

Мы успели сделать по Тверской шагов десять, не меньше. И вот… Позади гул голосов, потом крик:

– Держи их, товарищи! Утякут, сволочи! Брань, крики и топот тяжелых сапог. Останавливаемся и резко оборачиваемся в сторону погони.

Опускаю руку в боковой карман и нащупываю револьвер. Быстро шепчу М-у:

– «Вы молчите. Говорить буду я». (Я знал, что говорить с ними он не сумеет).

Первая минута была самой тяжелой. К чему готовиться? Ожидая, что солдаты набросятся на нас, я порешил, при первом нанесенном мне ударе, выстрелить в нанесшего удар, а потом – в себя.

Нас с воплями окружили.

– Что с ними разговаривать? Бей их, товарищи! – кричали напиравшие сзади.

Передние, стоявшие вплотную к нам, кричали меньше и, очевидно, не совсем знали, что с нами делать. Необходимо было инициативу взять на себя. Чувство самосохранения помогло мне крепко овладеть собой. По предшествующему опыту (дисциплинарный суд, комитеты и пр.) я знал, что для достижения успеха необходимо непрерывно направлять внимание солдат в желательную для себя сторону.

– Что вы от нас хотите? – спрашиваю, как могу спокойнее.

В ответ крики:

– Он еще спрашивает!

– Сорвал и спрашивать смеет!

– Что с ними ев… разговаривать! Бей их! – напирают задние.

– Убить нас всегда успеете. Мы в вашей власти. Вас много – всю улицу запрудили – нас двое.

Слова мои действуют. Солдаты стихают. Пользуюсь этой передышкой и задаю толпе вопросы – лучший способ успокоить ее.

– Вас возмущает, что я сорвал воззвание. Но иначе я поступить не мог. Присягали вы Временному Правительству?

– Ну и присягали! Мы и царю присягали!

– Царь отрекся от престола и этим снял с вас присягу. Отреклось Временное Правительство от власти?

Последние слова приняты совсем неожиданно.

– А! Царя вспомнил! Про царя заговорил! Вот они кто! Царя захотели!

И опять дружный вопль:

– Бей их!

Но первая минута прошла. Теперь, несмотря на вопли, стало легче. То, что сразу на нас не набросились – давало надежду. Главное – оттянуть время. Покрывая их голоса, кричу:

– Если вы не признаете власти Временного Правительства, какую же вы власть признаете?

– Известно какую! Не вашу – офицерскую! Советы, – вот наша власть!

– Если Совет признаете, – идемте в Совет! Пусть там нас рассудят, кто прав, кто виноват.

На генерал-губернаторский дом я рассчитывал, как на возможность бегства. Я знал приблизительное рас-

положение комнат, ибо ранее приходилось несколько раз быть там начальником караула.

К этому времени вокруг нас образовалась большая толпа. Я заметил при этом, что вновь прибывающие были гораздо свирепее других настроены.

– Итак, коли вы Советы признали – идем в Совет. А здесь на улице нам делать нечего.

Я сделал верный ход. Толпа загалдела. Одни кричали, что с нами нужно здесь же покончить, другие стояли за расправу в Совете, остальные просто бранились.

– Долго мы здесь стоять будем? Или своего Совета боитесь? – Чего ты нас Советом пугаешь? Думаете, вашего брата там по головке погладят? Как бы не так! Там вам и кончание придет. Ведем их, товарищи, взаправду в Совет! До него тут рукой подать. Самое трудное было сделано.

– В Совет, так в Совет!

Мы первые двинулись по направлению к Скобелевской площади. За нами гудящая толпа солдат.

* * *

Начинались сумерки. Народу на улицах было много.

На шум толпы выбегали из кафе, магазинов и домов. Для Москвы, до сего времени настроенной мирно, вид возбужденной, гудящей толпы, ведущей двух офицеров, был необычен.

Никогда не забуду взглядов, бросаемых нам вслед прохожими и особенно женщинами. На нас смотрели, как на обреченных. Тут было и любопытство, и жалость, и бессильное желание нам помочь. Все глаза были обращены на нас, но ни одного слова, ни одного движения в нашу защиту.

Правда, один, неожиданно, за нас вступился. С виду приказчик, или парикмахер – маленький тщедушный

человечек в запыленном котелке. Он забежал вперед, минуту шел с толпой и вдруг, волнуясь и заикаясь, заговорил:

– Куда вы их ведете, товарищи? Что они вам сделали? Посмотрите на них. Совсем молодые люди. Мальчики. Если и сделали что, то по глупости. Пожалейте их. Отпустите!

– Это еще что за защитник явился? Тебе чего здесь нужно? Мать твою так и так – видно жить тебе надоело! А ну, пойдем с нами!

Котелок сразу осел и замахал испуганно руками.

– Что вы, товарищи? Я разве что сказал? Я ничего не говорю. Вам лучше знать… И он, нырнув в толпу, скрылся. Неподалеку от Совета я чуть было окончательно не погубил дела. Я увидел в порядке идущую по Тверской полуроту нашего полка под командой молоденького прапорщика, лишь недавно прибывшего из училища. Меня окрылила надежда. Когда голова отряда поровнялась с нами, я, быстро сойдя с тротуара, остановил его (это был наряд, возвращающийся с какого-то дежурства). Перепуганный прапорщик, ведший роту, смотрел на меня с ужасом, не понимая моих намерений. Но нельзя было терять времени. Толпа, увидав стройные ряды солдат, стихла.

Я обратился к полуроте.

– Праздношатающиеся по улицам солдаты, в то время как вы исполняли свои долг, неся наряд, задержали двоих ваших офицеров. Считаете ли вы их вправе задерживать нас?

– Нет! Нет! – единодушный и дружный ответ.

– Для чего же у нас тогда комитеты и дисциплинарные суды, избранные вами?

– Правильно! Правильно!

Я совершил непозволительную ошибку. Мне нужно было сейчас же повести под своей командой солдат в

казармы. Нас, конечно, никто не посмел бы тронуть. Вместо этого я проговорил еще не менее двух минут. Опомнившаяся от неожиданности, толпа начала просачиваться в ряды роты. Снова раздались враждебные нам голоса.

– Вы их не слушайте, товарищи! Неужто против своих пойдете? – Они тут на всю улицу царя вспоминали! – А мы их в Совет ведем. Там дело разберут! – Наш Совет – солдатский! Или Совету не доверяете?

Время было упущено. Кто-то из роты заговорил уже по-новому:

– А и правда, братцы! Коли ведут, значит за дело ведут. Нам нечего мешаться. В Совете, там разберут!

– Правильно! – так же дружно, как мне, ответили солдаты.

Говорить с ними было бесполезно. Передо мною была уже не рота, а толпа. Наши солдаты стояли вперемешку с чужими. Во мне поднялась злоба, победившая и страх и волнение.

– Запомните, что вы своих офицеров предали! Идем в Совет!

До Совета было рукой подать, что не дало возможности сызнова разъярившейся толпе с нами расправиться.

* * *

Скобелевская площадь оцеплена солдатами. Первые красные войска Москвы. Узнаю автомобилистов.

– Кто такие? Куда идете?

– Арестованных офицеров ведем. Про царя говорили. Объявления советские срывали.

– Чего же привели эту с…? Прикончить нужно было. Если всех собирать, то и места для них не хватит! Кто же проведет их в Совет? Не всей же толпой идти!

Отделяется человек пять-шесть. Узнаю среди них тех, что нас первыми задержали. Ведут через площадь, осыпая неистовой бранью. Толпа остается на Тверской. Я облегченно вздыхаю – от толпы отделались.

Подымаемся по знакомой лестнице генерал-губернаторского дома. Провожатым – кто-то из местных.

Проходим ряд комнат. Мирная канцелярская обстановка. Столы, заваленные бумагами. Барышни, неистово выстукивающие на машинках, снующие молодые люди с папками. Нас провожают удивленными взглядами.

У меня снова появляется надежда на счастливый исход. Чересчур здесь мирно. Дверь с надписью: «дежурный член И. К.[16]».

Входим. Почти пустая комната. С потолка свешивается старинная хрустальная люстра. За единственным столом сидит солдат – что-то пишет.

Подымает голову. Лицо интеллигентное, мягкое. Удивленно смотрит на нас.

– В чем дело?

– Мы, товарищ, к вам арестованных офицеров привели. Ваши объявления срывали. Про царя говорили. А дорогой, как вели, сопротивление оказали – бежать хотели.

– Пустили в ход оружие? – хмурится член И. К.

– Никак нет. Роту свою встретили, уговаривали освободить их.

– Та-а-акс – тянет солдат. – Ну, вот что – я сейчас сниму с вас показания, а господа офицеры (!!!) свои сами напишут.

Он подал нам лист бумаги.

– Пусть напишет один из вас, а подпишутся оба.

---

16 Исполнительного Комитета. (Прим. автора).

Нагибаюсь к М. и шепчу:

– Боюсь верить, но, кажется, спасены! Быстро заполняю лист и слушаю, какую ахинею несут про нас солдаты. Оказывается, кроме сорванного объявления за нами числится: монархическая агитация, возглас – «мы и ваше учредительное собрание сорвем, как этот листок», призыв к встретившейся роте выступить против Совета.

Член И. К. все старательно заносит на бумагу. Опрос окончен.

– Благодарю вас, товарищи, за исполнение вашего революционного долга, – обращается к солдатам член комитета. – Вы можете идти. Когда нужно будет, мы вас вызовем. Солдаты мнутся.

Как же так, товарищ. Вели мы их, вели, и даже не знаем, как вы их накажете.

– Будет суд, – вас вызовут, тогда узнаете. А теперь идите. И без вас много дела. Солдаты, разочарованные, уходят.

– Что же мне теперь с вами делать? – обращается к нам с улыбкой член комитета по прочтении моего показания. – Скажу вам правду. Я не вижу в вашем проступке причин к аресту. Мы еще не победители, а потому не являемся носителями власти. Борьба еще впереди. Я сам недавно, подобно вам, срывал воззвания Корнилова. Сейчас вы срывали наши. Но, – он с минутку помолчал, – у нас есть исполнительный орган – «семерка», которая настроена далеко не так, как я. И если вы попадете в ее руки – вам уже отсюда не выбраться.

Я не верил ушам своим.

– Что же вы собираетесь с нами делать? – спрашиваю.

– Что делать? Да попытаюсь вас выпустить. У меня мелькнула мысль, не провоцирует ли он. Если нас

выпустят – на улице мы неминуемо будем узнаны И, на этот раз, неминуемо растерзаны.

– Лучше арестуйте нас, а на верный самосуд мы не выйдем.

Он задумывается.

– Да, вы правы. Вам одним выходить нельзя. Но мы это устроим – я вас провожу до трамвая.

В это время открывается дверь, и в комнату входит солдат сомнительной внешности. Осмотрев нас с головы до ног, он обращается к члену комитета.

– Товарищ, это арестованные офицеры?

– Да.

– Не забудьте про постановление «семерки» – всех арестованных направлять к ней.

– Знаю, знаю. Я только сниму с них допрос наверху. Идемте. Мы поднялись по темной, крутой лестнице. Входим в большую комнату с длинным столом, за которым заседают человек двадцать штатских, военных и женщин. На нас никто не обращает внимания. Наш провожатый подходит к одному из сидящих и что-то шепчет ему на ухо. Тот, оглядывая нас, кивает головой. До меня долетает фраза произносящего речь лохматого человека в пенсне:

«Товарищи, я предупреждал вас, что С.-Р.[17] нас подведут. Вот телеграмма. Они предают нас»…

Возвращается наш спутник. Проходим в следующую комнату. Там на кожаном диване сидят трое: подпоручик, ни разу не поднявший на нас глаз, еврей – военный врач и бессловесный молодой рабочий.

Член комитета рассказывает о нашем задержании и своем желании нас выпустить. Возражений нет. Мне кажется, что на нас посматривают с большим смущением.

---

[17] Социалисты-революционеры (эсеры). (Прим. автора).

Но опять испытание. В комнату быстро входит солдат, напоминавший о постановлении «семерки».

– Что же это вы задержанных офицеров вниз не ведете? «Семерка» ждет.

– Надоели вы со своей «семеркой»! – Вы подрываете дисциплину!

– Никакой дисциплины я не подрываю. У меня у самого голова на плечах есть. Задерживать офицеров за то, что они сорвали наше воззвание – идиотизм. Тогда придется всех офицеров Москвы задержать.

Представитель «семерки» свирепо смотрит в нашу сторону.

– Можно быть Александрами Македонскими, но зачем же наши воззвания срывать?

Я не могу удержать улыбки. Еще минут пять солдата уговаривают еврей-доктор, рабочий и член комитета. Наконец, он, махнув рукой и хлопнув дверью, выходит:

– Делайте, как знаете!

* * *

Опять идем коридорами и лестницами – впереди член комитета, позади – я с М. Думали выйти черным ходом – заперто. Нужно идти через вестибюль.

При нашем появлении солдаты на площади гудом:

– Арестованных ведут! – Куда ведете, товарищ?

– На допрос – в комитет, а оттуда в Бутырки.

– Так их, таких-сяких! – Попили нашей кровушки. Как бы только не удрали!

– Не удерут!

Мы идем мимо тверской гауптвахты к трамваю. На остановке прощаемся с нашим провожатым.

– Благодарите Бога, что все так кончилось, – говорит он нам. – Но, я вас буду просить об одном: не срывайте наших объявлений. Этим вы ничего, кроме

дурного, не достигнете. Воззваний у нас хватит. А офицерам вы сегодня очень повредили. Солдаты, что вас задержали, теперь ищут случая, чтобы придраться к кому-нибудь из носящих золотые погоны.

Приближался трамвай. Я пожал его руку.

– Мне трудно благодарить вас, – проговорил я торопливо. – Если бы все большевики были такими, – словом… Мне хотелось бы когда-нибудь помочь вам в той же мере. Назовите мне вашу фамилию.

Он назвал, и мы расстались.

* * *

В трамвае то же, что сегодня утром. Тишина. Будничные лица.

Во все время нашей истории я старался не смотреть на М. Тут впервые посмотрел ему прямо в глаза. Он покраснел, улыбнулся и вдруг рассмеялся. Смеется и остановиться не может. Начинаю смеяться и я. Сквозь смех М. мне шепчет:

– Посмотрите, вокруг дураки и дуры, которые ничего не чувствуют, ничего не понимают.

И новый взрыв смеха, подхваченный мною. Кондуктор нерешительно, очевидно принимая нас за пьяных, просит взять билет…

* * *

Дома я нахожу ожидающего меня артиллериста Г., моего друга детства.[18]

– С., наконец-то! – встречает он меня радостно. – А я тебя по всему городу ищу! Идем скорее в Александровское училище – там собрание Совета Офицерских

---

[18] Гольцев Сергей Иванович.

Депутатов. Необходимо присутствовать. Вокруг Александровского училища сейчас организуются все силы против большевиков.[19]

За ужином рассказываю сестре и Г. о происшедшем со мною и тут только осознаю, что меня даже не обезоружили – шашка и револьвер налицо.

После ужина бежим с Г. в Александровское училище.

* * *

В одной из учебных комнат находим заседающий Совет. Лица утомленные и настроение подавленное. Оказывается, заседают уже несколько часов – и, пока что – тщетно. Один за другим вяло выступают ораторы – и правые, и левые, и центр. И те и другие призывают к осторожности. Сообщаю о виденном мною в Совете и предлагаю действовать как можно решительнее, так как большевики открыто и лихорадочно готовятся к восстанию.

Говорим до глубокой ночи и решаем на следующий день с утра созвать собрание офицеров московского гарнизона. Каждый депутат должен сообщить в свою часть о предстоящем собрании. На этом мы расходимся.

Полночи я стою у телефона, звоня всюду, куда можно, чтобы разнести весть о собрании как можно шире. От числа собравшихся будет зависеть наш успех. Нам нужна живая сила.

---

[19] Здесь во время октябрьских боев 1917 г. был организован главный оперативный штаб контрреволюционного командования МВО, формировались отряды Белой гвардии. На подступах к училищу были вырыты окопы, возведены баррикады, установлены орудия.

* * *

С утра 27-го беготня по городу. Захожу в Офицерское Экономическое Общество, через которое ежедневно проходят тысячи офицеров, и у всех касс вывешиваю плакаты:

«Сегодня собрание офицеров Московского гарнизона в Александровском училище в 3 ч. Все гг. офицеры обязаны присутствовать.

СОВЕТ ОФИЦЕРСКИХ ДЕПУТАТОВ».

Меня мгновенно обступают и забрасывают вопросами. Рассказываю, что знаю о положении дел, и прошу оповестить всех знакомых офицеров о собрании.

– Непременно придем. Это прекрасно, что мы будем собраны в кулак – все вместе. Мы – единственные, кто сможет дать отпор большевикам.

– Не опаздывайте, господа. Через два часа начало.

Весть о гарнизонном собрании молниеносно разносится по городу. Ко мне несколько раз на улице подходили незнакомые офицеры со словами:

– Торопитесь в Александровское училище. Там наше собрание.

Когда я вернулся в училище, старинный актовый зал был уже полон офицерами. Непрерывно прибывают новые. Бросаются в глаза раненые, собравшиеся из бесчисленных московских лазаретов на костылях, с палками, с подвязанными руками, с забинтованными головами. Офицеры местных запасных полков в меньшинстве.

Незабываемое собрание было открыто президиумом Совета Офицерских Депутатов. Не помню, кто председательствовал, помню лишь, что собрание велось беспорядочно и много времени было потеряно даром.

С самого начала перед собравшимися во всей грандиозности предстала картина происходящего.

После сообщения представителями Совета о предпринятых мерах к объединению офицерства воедино и доклада о поведении командующего войсками, – воздух в актовом зале накаляется. Крики:

– Вызвать командующего! Он обязан быть на нашем собрании! Если он изменник, от него нужно поскорее избавиться!

Беспомощно трезвонит председательский колокольчик. Шум растет. Кто-то объявляет, что побежали звонить командующему. Это успокаивает, и постепенно шум стихает.

Один за другим выступают представители полков. Все говорят о своих полках одно и тоже: рассчитывать на полк, как на силу, которую можно двинуть против большевиков, нельзя. Но в то же время считаться с полком, как ставшим на сторону большевиков, тоже не следует. Солдаты без офицеров и помышляющие лишь о скорейшем возвращении домой в бой не пойдут.

Возвращается пытавшийся сговориться с командующим по телефону. Оказывается, командующего нет дома.

Опять взрыв негодования. Крики:

– Нам нужен новый командующий! Долой изменника!

На трибуне кто-то из старших призывает к лояльности. Напоминает о воинской дисциплине.

– Сменив командующего, мы совершим тягчайшее преступление и ничем не будем отличаться от большевиков. Предлагаю, ввиду отсутствия командующего, просить его помощника взять на себя командование округом.

В это время какой-то взволнованный летчик просит вне очереди слова.

– Господа, на Ходынском поле стоят ангары. Если сейчас же туда не будут посланы силы для охраны их, –

они очутятся во власти большевиков. Часть летчиков-офицеров уже арестована.[20]

Не успевает с трибуны сойти летчик, как его место занимает артиллерист.

– Если мы будем медлить – вся артиллерия – сотни пушек – окажется в руках большевиков. Да, собственно, и сейчас уже пушки в руках солдат.

Кончает артиллерист – поднимается председатель;

– Господа! Только что вырвавшийся из Петрограда юнкер Михайловского училища просит слова вне очереди.

– Просим! Просим!

Выходит юнкер. Он от волнения не сразу может говорить. Наступает глубочайшая тишина.

– Господа офицеры! – голос его прерывается. – Я прямо с поезда. Я послан, чтобы предупредить вас и московских юнкеров том, что творится в Петрограде. Сотни юнкеров растерзаны большевиками. На улицах валяются изуродованные тела офицеров, кадетов, сестер, юнкеров. Бойня идет и сейчас. Женский батальон в Зимнем Дворце, женский батальон… – Юнкер глотает воздух, хочет сказать, но только движет губами. Хватается за голову и сбегает с трибуны.

Несколько мгновений тишины. Чей-то выкрик:

– Довольно болтовни! Всем за оружие! – подхватывается ревом собравшихся.

– За оружие! В бой! Не терять ни минуты! Председатель машет руками, трезвонит, что-то кричит – его не слышно.

Неподалеку от меня сидит одноногий офицер. Он стучит костылями и кричит:

---

[20] На Ходынском поле были расположены аэродром, ангары и мастерские и Николаевские казармы. В них была расквартирована 1-я запасная артиллерийская бригада.

– Позор! Позор!

На трибуну, минуя председателя, всходит полковник генштаба. Небольшого роста, с быстрыми решительными движениями, лицо прорезано несколькими прямыми глубокими морщинами, острые стрелки усов, эспаньолка, горящие холодным огоньком глаза под туго-сдвинутыми бровями. С минуту молчит. Потом, покрывая шум, властно:

– Если передо мною стадо – я уйду. Если офицеры – я прошу меня выслушать! Все стихает.

– Господа офицеры! Говорить больше не о чем. Все ясно. Мы окружены предательством. Уже льется кровь мальчиков и женщин. Я слышал сейчас крики: в бой! за оружие! – Это единственный ответ, который может быть. Итак, за оружие! Но необходимо это оружие достать. Кроме того, необходимо сплотиться в военную силу. Нужен начальник, которому мы бы все беспрекословно подчинились. Командующий – изменник! Я предлагаю тут же, не теряя времени, выбрать начальника. Всем присутствующим построиться в роты, разобрать винтовки и начать боевую работу. Сегодня я должен был возвращаться на фронт. Я не поеду, ибо судьба войны и судьба России решается здесь – в Москве. Я кончил. Предлагаю приступить немедленно к выбору начальника!

Громовые аплодисменты. Крики:

– Как ваша фамилия? Ответ:

– Я полковник Дорофеев.[21]

Председателю ничего не остается, как приступить к выборам. Выставляется несколько кандидатур. Выбирается почти единогласно никому не известный, но всех взявший – полковник Дорофеев.

– Господ офицеров, могущих держать оружие в руках, прошу построиться тут же, в зале по-ротно. В

---

[21] Дорофеев Константин Константинович.

ротах по сто штыков – думаю, будет довольно, – приказывает наш новый командующий.

* * *

Через полчаса уже кипит работа. Роты построены. Из цейхгауза Александровского училища приносятся длинные ящики с винтовками. Идет раздача винтовок, разбивка по взводам. Составляются списки. Я – правофланговый 1-ой офицерской роты. Мой командир взвода – молоденький шт. – капитан, высокий, стройный, в лихо заломленной папахе. Он из лазарета, с незажившей раной на руке. Рука на перевязи. На груди белый крестик (командиры рот и взводов почти все были назначены из георгиевских кавалеров).

В наш взвод попадают несколько моих однополчан и среди них прап. Б. (московский присяжный поверенный), громадный, здоровый, всегда веселый.[22]

Судьба нас соединила в 1-ой офицерской роте и много месяцев наши жизни шли рядом.[23]

Живущим неподалеку разрешается сходить домой, попрощаться с родными и закончить необходимые дела. Я живу рядом – на Поварской. Бегу проститься со своей трехлетней дочкой[24] и сестрой. Прощаюсь и возвращаюсь.

* * *

Спускается вечер. Нам отвели половину спальни юнкеров. Когда наша рота, построенная рядами, идет,

---

[22] Вероятно, прапорщик Блохин.

[23] Пр. Б. убит в районе Орла, находясь в Корниловском полку. (Прим. автора).

[24] Вероятно, речь идёт о старшей дочери, Ариадне, которой было в то время 5 лет).

громко и отчетливо печатая, встречные юнкера лихо и восторженно отдают честь. Нужно видеть их горящие глаза!

Не успели мы распределить койки, как раздается команда:

– 1-ый взвод 1-ой офицерской – становись! Бегом строимся. Входит полк. Дорофеев.

– Господа, поздравляю вас с открытием военных действий. Вашему взводу предстоит первое дело, которое необходимо выполнить как можно чище. Первое дело дает тон всей дальнейшей работе. Вам дается следующая задача: взвод отправляется на грузовике на Б. Дмитровку. Там находится гараж Земского Союза, уже захваченный большевиками. Как можно тише, коротким ударом, вы берете гараж, заводите машины и, сколько сможете, приводите сюда. Вам придется ехать через Охотный ряд, занятый большевиками. Побольше выдержки, поменьше шума.

* * *

Мы выходим, провожаемые завистливыми взглядами юнкеров. У выходных дверей шумит заведенная машина. Через минуту медленно двигаемся, стоя плечо к плечу, по направлению к Охотному ряду…

Быстро спускаются сумерки. Огибаем Манеж и Университет и по вымершей Моховой продвигаемся к площади. Там сереет солдатская толпа. Все вооружены.

– Зарядить винтовки! Приготовиться!

Щелкают затворы.

Ближе, ближе, ближе… Кажется, что автомобиль тащится гусеницей. Подъезжаем вплотную к толпе. Расступаются. Образовывается широкая дорожка. Жуткая тишина. Словно глухонемые. Слева остается Тверская, запруженная такой же толпой. Вот охотнорядская

церковь (Параскевы-мученицы). Толпа редеет и остается позади.

– Будут стрелять вслед, или не будут? Нет. Тихо. Не решились.

Сворачиваем на Дмитровку и у первого угла останавливаемся. На улице ни души. Выбираемся из грузовика, оставляем шофера и трех офицеров у машины, сами гуськом продвигаемся вдоль домов.

Совсем стемнело. Фонари не горят. Кое-где – освещенное окно. Гулко раздаются наши шаги. Кажется – вечность идем. Я, как правофланговый, иду тотчас за командиром взвода.

– Видите этот высокий дом? Там – гараж. Мне почудилось: какая-то тень метнулась и скрылась в воротах.

За дом до гаража мы останавливаемся.

– Если ворота не заперты – мы врываемся. Без необходимости огня не открывать. Ну, с Богом!

Тихо подходим. Слышно, как во дворе стучит заведенная машина. Вот и ворота, раскрытые настежь.

– За мной!

Обгоняя друг друга, с винтовками наперевес, вбегаем в ворота. Тьма.

«Бах!» – пуля звонко ударяет в камень. Еще и еще. Три гулких выстрела. Потом тишина.

Осматриваем двор, окруженный со всех сторон небоскребами. Откуда стреляли?

Кто-то открывает ворота гаража. Яркий свет автомобильного фонаря. Часть бежит осматривать гараж, другая, возглавляемая взводным, отыскивать караульное помещение.

У одних дверей находим раненого в живот солдата. Он без сознания. Это тот, что стрелял в нас и получил меткую пулю в ответ.

– Говорил я, не стрелять без надобности! – кричит капитан.

В это время неожиданно распахивается дверь и показывается солдат с винтовкой. При виде нас столбенеет.

– Бросай винтовку! Бросает.

– Где караул?

Молчит, потом, еле слышно:

– Не могу знать. – Врешь. Если не скажешь – будешь валяться вот как этот. Сдавленный шепот:

– На втором, этаже, ваше высокоблагородие.

– Иди вперед, показывай дорогу. А вы, господа, оставайтесь здесь. С ними я один справлюсь.

Мы пробуем возражать – бесполезно. С наганом в руке капитан скрывается на темной лестнице.

Ждем. Минута, другая… Наконец-то! Топот тяжелых сапог, брань капитана. Из темноты выныривают два солдата с перекошенными от ужаса лицами, несут в охапках винтовки, за ними еще четыре, и позади всех – капитан со своим наганом.

– Заводить моторы. Скорей! Скорей! – торопит капитан.

Входим в гараж. Группа шоферов, окруженная нашими, смотрит на нас волками.

– Не можем везти. Машины испорчены, – говорит один из них решительно.

– Ах, так? – капитан меняется в лице. – Пусть каждый подойдет к своему автомобилю! Шоферы повинуются.

– Теперь знайте: если через минуту моторы не будут заведены, – отвечаете мне жизнью. Прапорщик! Смотрите по часам.

Через минуту шесть машин затрещало.

– Нужно свезти раненого в лазарет. Вот вы двое – отправляйтесь с ним в лазарет Литературного Кружка. Это рядом. Не спускайте глаз с шофера…

Возвращаемся с добычей (шесть автомобилей) обратно. На передних сидениях шофер и пленные

солдаты, сзади офицеры с наганами наготове. С треском проносимся по улицам. На Охотнинской площади при нашем приближении толпа шарахается в разные стороны.

Александровское училище. Нас восторженно встречают и поздравляют с успехом. Несемся назад, захватив с собой всех шоферов.

Подъезжая к Дмитровке, слышим беспорядочную ружейную стрельбу. Капитан волнуется:

– Дурак я! Оставил троих – перестреляют их как курапаток!

Еще до Дмитровки соскакиваем с автомобилей. Стреляют совсем близко – на Дмитровке. Ясно, что атакуют гараж. – Выстраиваемся.

– Вдоль улицы пальба взводом. Взво-од… пли! Залп.

– Взво-од… пли!

Второй залп. И… тишина. Невидимый противник обращен в бегство. Бежим к гаражу.

– Кто идет?! – окликают нас из ворот. Капитан называет себя.

– Слава Богу! Без вас тут нам было совсем плохо пришлось. Меня в руку ранили.

Через несколько минут были доставлены в Александровское училище остальные автомобили. Мы отделались дешево. Один легко раненый в руку.

* * *

Я не запомнил московского восстания по дням. Эти пять-шесть дней слились у меня в один сплошной день и одну сплошную ночь. Итак, храня приблизительную последовательность событий, за дни не ручаюсь.

* * *

Кремль был сдан командующим войсками полковником Рябцовым в самом начале. Это дало возможность красногвардейцам воспользоваться кремлевским арсеналом. Оружие мгновенно рассосалось по всей Москве. Большое количество его попало в руки мальчишек и подростков. По опустевшим улицам и переулкам Москвы затрещали выстрелы. Стреляли всюду и отовсюду и часто без всякой цели. Излюбленным местом для стрельбы были крыши и чердаки. Найти такого стрелка, даже если мы ясно обнаружили место, откуда стреляли, было почти невозможно. В то время как мы поднимались наверх – он бесследно скрывался.

В первый же день начала действий мы попытались приобрести артиллерию. Для этого был отправлен легкий отряд из взвода казаков и нескольких офицеров-артиллеристов в автомобиле через всю Москву на Ходынку. Отряд вернулся благополучно, забрав с собою два легких орудия и семьдесят снарядов. Никакого сопротивления оказано не было. Почему налет не был повторен, – мне неизвестно.

Кроме того, в наших руках были два броневых автомобиля. Кажется, они еще раньше были при Александровском училище.

* * *

Утро. Пью чай в нашей столовой. Чай и хлеб разносят пришедшие откуда-то сестры милосердия, приветливые и ласковые.

Столовая – средоточие всех новостей, большей частью баснословных. Мне радостно сообщают «из достовернейших источников», что к нам идут, эшелон за эшелоном, казаки с Дона. Нам необходимо поэтому продержаться не более трех дней.

Подходит приятель, артиллерист Г.

– Ты был в актовом зале? Нет? Иди скорей – смотри студентов!

– Каких студентов?

– Каких! Конечно, московских! Пришли записываться в роты.

Бегу в Актовый зал. Полно студенческих фуражек. Торопливо разбивают по ротам. Студенты конфузливо жмутся, переступая с ноги на ногу.

– Молодцы коллеги! – восклицает кто-то из офицеров. – Я сам московский студент и горжусь вашим поступком. В ответ застенчивые улыбки. Между студентами попадаются и гимназисты. Некоторые – совсем дети, 12–13 лет.

– А вы тут что делаете? – спрашивают их со смехом.

– То же, что и вы! – обиженно отвечает розовый мальчик в сдвинутой на затылок гимназической фуражке.

* * *

Юнкерами взят Кремль.[25] Серьезного сопротивления большевики не оказали. Взятием руководил командир моего полка, полковник Пекарский.

Ночью несем караул в Манеже. Посты расставлены частью по Никитской, частью в сторону Москвы-реки. Ночь темная. Стою, прижавшись к стене, и вонзаю взгляд в темноту. То здесь, то там гулко хлопают выстрелы.

Прислушиваюсь. Чьи-то крадущиеся шаги.

– Кто идет?

---

[25] 28-го октября батальон юнкеров проник в Кремль через потайной ход из Александровского сада. Юнкера разоружили часовых, открыли Боровицкие и Никольские ворота для входа в Кремль Белой гвардии.

Молчание. Тихо. Может быть, померещилось? Нет, – снова шаги, робкие, чуть слышные.

– Кто идет? Стрелять буду! Щелкаю затвором.

– Ох, не стреляй, дружок. Это я!

– Отвечай кто, а то выстрелю.

– Спаси Господи, страхи какие! Церковный сторож я, батюшка, от Власия, что в Гагаринском. Отпусти, Христа ради, душу на покаяние.

– Иди, иди, не бойся!

Тяжело дыша, подходит коренастый старик. В руках палка, на голове – шапка с ушами; борода.

– Куда идешь?

– Да к себе пробираюсь, батюшка. Который час иду. Еще засветло вышел, да вот до сих пор все канючусь. Страху набрался, на всю жизнь хватит.

Два раза хватали, обыскивали. В Марьиной был, у сестры. Сестра моя захворала. Да вот – откуда беда свалилась. А ты кто, батюшка, будешь? – Офицер – я.

– Ахфицер? Ничего не пойму чтой-то! То фабричные, да страшные такие, а здесь вы, ваше благородие.

– Не скоро поймешь, старик. Теперь слушай. К Арбатским воротам выйдешь через Воздвиженку.

– Так, так.

– По Пречистенскому не ходи, там пули свистят. Подстрелят. Заверни в первый переулок – переулками и пробирайся. Понял?

* * *

– Понял, ваше благородие. Как не понять! Спасибо на добром слове. Дай вам Бог здоровья. Последние дни пришли, ох Господи! – и старик с причитаниями скрывается в темноте.

Опять вперяюсь в темень. Где-то затрещал пулемет – та-та-та – и умолк. Из-за угла окликает под-часок:

– Как дела, С. Я.?

– Ничего. Темно больно.

Впереди черная дыра Никитской. Переулки к Тверской заняты большевиками.

Вдруг в темноте вспыхивают два огонька. Почти одновременное: бах, бах… Со стороны Тверской забулькали пулеметы – один, другой. Где-то в переулке грохот разорвавшейся гранаты.

Подчасок бежит предупредить караул. Со стороны Манежа равномерный топот шагов.

– Кто идет?

– Прапорщик Б. Веду подкрепление нашему авангарду, – смеется.

Пять рослых офицеров становятся за углом. Ждут… Стрельба стихает.

– Идите, С. Я., подремать в Манеж. Мы постоим.

Через минуту, подняв воротник, дремлю, прижавшись к шершавому плечу соседа.

Наши торопливо строятся. – Куда идем?

– На телефонную станцию.[26]

Опять грузовик. Опять – плечо к плечу. Впереди – наш разведывательный Форд, позади – небольшой автомобиль с пулеметом.

Охотный. Влево – пустая Тверская. Но мы знаем, что все дома и крыши заняты большевиками. Вправо, в воротах, за углами – жмутся юнкера, по два, по три – наши передовые дозоры.

На Театральной площади, из Метрополя юнкера кричат:

– Ни пуха, ни пера!

Едем дальше.

Вот и Лубянская площадь. На углу сгружаемся, рассыпаемся в цепь и начинаем продвигаться по направ-

[26] Находилась в Милютинском переулке (район Мясницкой ул.).

лению к Мясницкой. Противника не видно. Но, невидимый, он обстреливает нас с крыш, из чердачных окон и, чорт знает, еще откуда. Сухо и гадко хлопают пули по штукатурке и камню. Один падает. Другой, согнувшись, бежит за угол к автомобилям. На фланге трещит наш «Максим», обстреливающий вход на Мясницкую.

Стрельба тише… Стихает.

До нас, верно, здесь была жестокая стычка. За углом Мясницкой, на спине, с разбитой головой – тело прапорщика. Под головой – невысохшая лужа черной крови. Немного поодаль, ничком, уткнувшись лицом в мостовую, – солдат.

Часть офицеров идет к телефонной станции, сворачивая в Милютинский пер. (там отсиживаются юнкера), я с остальными продвигаюсь по Мясницкой. Устанавливаем пулемет. Мы знаем, что в почтамте засели солдаты 56 полка (мой полк).[27] У почтамта чернеет толпа. – Разойтись! Стрелять будем!

– Мы мирные! Не стреляйте! – Мирным, нужно по домам сидеть! Но верно, действительно, мирные – винтовок не видно.

Долго чего-то ждем. У меня после двух бессонных ночей глаза слипаются. Сажусь на приступенке у дверей какого-то банка и мгновенно засыпаю. Кто-то осторожно теребит за плечо. Открываю глаза – передо мною бородатое лицо швейцара.

– Г-дин офицер, не погнушайтесь зайти к нам чайку откушать. Видно, умаялись. Чаек-то подкрепит.

Благодарю бородача и захожу с ним в банк. Забегая вперед, ведет меня в свою комнату. Крошечная каморка

---

[27] Многие солдаты 56-го пехотного запасного полка в октябрьских боях участвовали на стороне революционных частей. Днём 25 октября 11-я и 13-я роты полка по поручению Московского боевого партийного центра заняли Почтамт и Центральный телеграф.

вся увешана картинами. В центре – портрет государя с наследником.

Суетливая, сухонькая женщина, верно жена, приносит сияющий, пузатый самовар.

– Милости просим, пожалуйста, садитесь. Господи, и лица-то на вас нет! Должно, страсть, как замаялись. Вот вам стаканчик. Сахару, не взыщите, мало. И хлеба, простите, нет. Вот баранки. Баранок-то, слава Богу, закупили, жена догадалась, и жуем понемногу.

Жена швейцара молчит, – лишь сокрушенно вздыхает, подперев щеку ладонью.

Обжигаясь, залпом выпиваю чай. Благодарю, прощаюсь. Швейцариха сует мне вязанку баранок:

– Своих товарищей угостите. Если время есть, – пусть зайдут к нам обогреться, отдохнуть, да чаю попить.

* * *

Прижимаясь к домам и поминутно оглядываясь, крадется барышня.

– Скажите, пожалуйста, – мне можно пройти в Милютинский переулок? Я телефонистка и иду на смену.

– Не только можно – должно! Нам необходимо, чтобы телефон работал. Барышня делает несколько шагов, но вдруг останавливается, дико вскрикивает и, припав к стене, громко плачет. Увидела тело прапорщика.

Подхватываем ее под руки и ведем, задыхающуюся от слез, на станцию.

* * *

Дорога обратно. У Большого Театра – кучка народа, просто любопытствующие. При нашем проезде кричат нам что-то, машут платками, шапками.

Свои.

* * *

Останавливает юнкерский пост.

– Берегитесь Тверской! Оба угловых дома – Национальной гостиницы и Городского Самоуправления – заняты красногвардейцами. Не дают ни пройти, ни проехать. Всех берут под перекрестный огонь.

– Ничего. Авось да небось – проедем! Впереди несется Форд. Провожаем его глазами. Проскочил. Ни одного выстрела. Пополз и наш грузовик. Равняемся с Тверской. И вдруг… Тах, тах, та-та-тах! Справа, слева, сверху… По противоположной стене защелкали пули. Сжатые в грузовике, мы не можем даже отвечать.

Моховая. Университет. Мы в безопасности.

– Кто ранен? – спрашивает капитан. Оглядываем друг друга. Все целы.

– Наше счастье, что они такие стрелки, – цедит сквозь зубы капитан.

Но с нашим пулеметным автомобилем – дело хуже. Его подстрелили. Те пять офицеров, что в нем сидели, выпрыгнув и, укрывшись за автомобиль, отстреливаются.

Нужно идти выручать. Тянемся гуськом вдоль домов. Обстреливаем окна Национальной гостиницы. Там попрятались и умолкли. Бросив автомобиль, возвращаемся с пулеметом и двумя ранеными пулеметчиками.

* * *

Наконец-то появился командующий войсками, полковник Рябцов.

В небольшой комнате Александровского училища, окруженный тесным кольцом возбужденных офицеров, сидит грузный полковник в расстегнутой шинели.

Верно, и раздеться ему не дали, обступили. Лицо бледное, опухшее, как от бессонной ночи. Небольшая борода, усы вниз. Весь он рыхлый и лицо рыхлое – немного бабье.

Вопросы сыплются один за другим и один другого резче.

– Позвольте узнать, г-н полковник, как назвать поведение командующего, который в эту страшную для Москвы минуту скрывается от своих подчиненных и бросает на произвол судьбы весь округ?

Рябцов отвечает спокойно, даже как будто бы сонно.

– Командующий ни от кого не скрывался. Я не сплю не помню которую ночь. Я все время на ногах. Ничего нет удивительного, что меня не застают в моем кабинете. Необходимость самому непосредственно следить за происходящим вынуждает меня постоянно находиться в движении.

– Чрезвычайно любопытное поведение. Наблюдать – дело хорошее. Разрешите все же узнать, г-н полковник, что нам, вашим подчиненным, делать? Или тоже наблюдать прикажете?

– Если мне вопросы будут задаваться в подобном тоне, я отвечать не буду, – говорит все так же сонно Рябцов.

– В каком тоне прикажете с вами говорить, г-н полковник, после сдачи Кремля с арсеналом большевикам?

Чувствую, как бешено натянута струна – вот, вот оборвется. Десятки горящих глаз впились в полковника. Он сидит, опустив глаза, с лицом словно маска, – ни одна черта не дрогнет.

– Я сдал Кремль, ибо считал нужным его сдать. Вы хотите знать, почему? Потому что всякое сопротивление полагаю бесполезным кровопролитием. С нашими силами, пожалуй, можно было бы разбить большеви-

ков. Но нашу кровавую победу мы праздновали бы очень недолго. Через несколько дней нас все равно смели бы. Теперь об этом говорить поздно. Помимо меня – кровь уже льется.

– А не полагаете ли вы, г-н полковник, что в некоторых случаях долг нам предписывает скорее принять смерть, чем подчиниться бесчестному врагу? – раздается все тот же сдавленный гневом голос.

– Вы движимы чувством – я руководствуюсь рассудком.

Мгновение тишины, которая прерывается исступленным криком офицера с исказившимся от бешенства лицом.

– Предатель! Изменник! Пустите меня! Я пущу ему пулю в лоб!

Он старается прорваться вперед с револьвером в руке.

Лицо Рябцова передергивается.

– Что-ж, стреляйте! Смерти ли нам с вами бояться?

Офицера хватают за руки и выводят из комнаты. Следом выхожу и я.

* * *

В Москве образовался какой-то комитет, не то «Общественного Спасения», не то «Общественного Спокойствия».[28] Он заседает в Думе под председательством городского головы Руднева[29] и объединяет собой целый ряд общественных организаций. К нам, как говорят, относится с некоторым недоверием, если не

[28] Комитет общественной безопасности.

[29] Руднев Вадим Викторович – член городского Комитета партии социалистов-революционеров, президиума московского Совета Рабочих Депутатов.

боязнью. Мне передавали – боятся контрреволюции. Сами же выносят резолюции с выражением протеста – всем, всем, всем.

В училище часто заходят молодые люди с эсеровскими листовками. Из этих листовок мы узнаем невероятные и бодрящие вести:

– «Петропавловская крепость взята обратно верными Временному Правительству войсками».

– «С юга продвигаются казачьи части для поддержки юнкеров».

– «С запада идут с этой же целью ударные батальоны». И т. д., и т. д.

Эти известия, как очень желательные, встречаются полным доверием, а часто и криками «ура». (Увы, потом оказалось, что все это делалось лишь с целью поднять наш дух и вселить неуверенность среди восставших).

* * *

С каждым часом становится труднее. Все на ногах почти бессменно. Не успеваешь приехать после какого-либо дела, наскоро поесть, как снова раздается команда:

– Становись!

Нас бросают то к Москве-реке, то на Пречистенку, то к Никитской, то к Театральной, и так без конца. В ушах звенит от постоянных выстрелов (на улицах выстрелы куда оглушительнее, чем в поле).

Большевики ловко просачиваются в крепко занятые нами районы. Сегодня сняли двух солдат, стрелявших с крыши Офицерского О-ва, а оно находится в центре нашего расположения.

Продвигаться вперед без артиллерии нет возможности. Пришлось бы штурмовать дом за домом.

Прекрасно скрытые за стенами, большевики обсыпают нас из окон свинцом гранатами. Время упущено.

В первый день, поведи мы решительно наступление, Москва бы осталась за нами. А наша артиллерия… Две пушки на Арбатской площади, направленные в сторону Страстной и выпускающие по десяти снарядов в день.

* * *

У меня от усталости и бессонных ночей опухли ноги. Пришлось распороть сапоги. Нашел чьи-то калоши и теперь шлепаю в них, поминутно теряя то одну, то другую.

* * *

Большевики начали обстрел из пушек. Сначала снаряды рвались лишь на Арбатской площади и по бульварам, потом, очень вскоре, и по всему нашему району. Обстреливают и Кремль. Сердце сжимается смотреть, как над Кремлем разрываются шрапнели.

Стреляют со Страстной площади, с Кудрина и откуда-то из-за Москвы-реки – тяжелыми (6 д<юймовыми>).

Александровское училище, окруженное со всех сторон небоскребами, для гранат недосягаемо. Зато шрапнели непрерывно разрываются над крышей и над окнами верхнего этажа, в котором расположены наши роты. Большая часть стекол перебита.

* * *

Каково общее самочувствие, лучше всего наблюдать за обедом, или за чаем, когда все вместе: юнкера, офицеры, студенты и добровольцы-дети.

Сижу, обедаю. Против меня капитан-пулеметчик с перевязанной головой, рядом с ним – гимназист лет двенадцати.

– Ешь, Володя, больше. А то опять проголодаешься, – начнешь просить есть ночью.

– Не попрошу. Я с собой в карман хлеба заберу, – деловито отвечает мальчик, добирая с тарелки гречневую кашу.

– Каков мой второй номер, – обращается ко мне капитан, – не правда ли, молодец? Задержки научился устранять, а хладнокровие и выдержка – нам взрослым поучиться. Я его с собою в полк заберу. Поедешь со мною на фронт? – Мнется.

– Ну?

– Из гимназии выгонят.

– А как же ты к нам в Александровское удрал? Даже маме ничего не сказал. За это из гимназии не выгонят?

– Не выгонят. Здесь совсем другое дело. Ведь сами знаете, что совсем другое…

Лохматый студент в шинели нараспашку кричит другому, тщедушному, сутулому, с лупами на носу.

– Вася, слышал новость?

– Нет. Что такое?

– Ударники к Разумовскому подходят. Сейчас оттуда пробрался один петровец, – сам его видел. Говорит, стрельба уже слышна, совсем рядом.

– Врет. Не верю. А впрочем, дай Бог. Скоро ты? Взводный ругаться будет.

– Вы где, коллега, стоите? – спрашиваю у лохматого.

– В доме градоначальника. Проклятущее место… В столовую входит стройная прапорщица, с перевязанной рукой. Кто-то окликает:

– Оля, вы ранены?

– Да, пустяки. Чуть задело. И не больно совсем. На лице сдержанная улыбка гордости.

* * *

Ко мне подходит п-ик Гольцев[30] – мой однокашник и однополчанин. Подсаживается, рассказывает.

– Вот вчера мы в грязную историю попали, С. Я! Получаем приказание с корнетом Дуровым[31] засесть на Никитской в Консерватории. А там какой-то госпиталь. Дело было уже вечером. Подымаемся наверх, а солдаты, бывшие раненые, теперь здоровые и разъевшиеся от безделия, – зверьми на нас смотрят. Поднялись мы на самый верх, вдруг – сюрприз: электричество во всем доме тухнет. И вот в темноте крики: – «бей, товарищи, их!» Это нас то есть. Тьма кромешная, ни зги не видать. Оказывается, негодяи нарочно электричество испортили. В темноте думали с нами справиться. Ошиблись. Темнота-то нам и помогла. – Корнет Дуров выстрелил в потолок и кричит: «Кто ко мне подойдет, убью как собаку!» Они, как тараканы, разбежались. Друг от друга шарахаются. Подумай только какое стадо! Два часа с ними в темноте просидели, пока нас не сменили.

* * *

Ни одной фразы, ни одного слова, указывающего на понижение настроения или веры в успех. Утомление, правда, чувствуется. Сплошь и рядом можно видеть сидя заснувшего юнкера или офицера. И не удивительно – спим только урывками.

---

30 Ученик студии Вахтангова, Гольцев, убит в бою под Екатеринодаром (1918 г.). (Прим. автора).

31 Смертельно ранен на Поварской в живот. (Прим. автора).

* * *

Опять выстраиваемся. Наш взвод идет к ген. Брусилову[32] с письмом, приглашающим его принять командование всеми нашими силами. Брусилов живет в Мансуровском переулке, на Пречистенке.

Выходим на Арбатскую площадь. Грустно стоят наши две пушки, почти совсем замолкшие. Почти все окна – без стекол. Здесь и там вместо стекол – одеяла.

Москва гудит от канонады. То и дело над головой шелестит снаряд. Кое-где в стенах зияют бреши раненых домов. Но… жизнь и страх побеждает. У булочных Филиппова и Севастьянова толпятся кухарки и дворники с кошелками. При каждом разрыве или свисте снаряда кухарки крестятся, некоторые приседают.

Сворачиваем на Пречистенский бульвар и тянемся гуськом вдоль домов. С поворота к храму Христа Спасителя обстановка меняется. Откуда-то нас обстреливают. Но откуда? Впечатление такое, что из занятых нами кварталов. Над штабом московского округа непрерывно разрываются шрапнели.

Идем по Сивцеву Вражку. Ни единого прохожего. Изредка – дозоры юнкеров. И здесь то и дело по стенам щелкают пули. Стреляют, видно, с дальних чердаков.

На углу Власьевского из высокого белого дома выходят несколько барышень с подносами, полными всякой снедью.

– Пожалуйста, господа, покушайте!

– Что вы, уходите скорее! До еды ли тут? Но у барышень так разочарованно вытягиваются лица, что мы

---

32 Брусилов Алексей Алексеевич. Во время 1-ой мировой войны – командующий 8-й армией, главнокомандующий Юго-Западным фронтом, Верховный главнокомандующий, затем военный советник Временного правительства. Сторонник войны «до победного конца».

не можем отказаться. Нас угощают кашей с маслом, бутербродами и даже конфетами. Напоследок раздают папиросы. Мы дружно благодарим.

– Не нас благодарите, а весь дом 3. Мы самообложились и никого из вас не пропускаем, не накормив.

Над головой прошелестел снаряд.

– Идите скорее домой!

– Что вы! Мы привыкли.

Прощаемся с барышнями и двигаемся дальше.

Пречистенка. Бухают снаряды. Чаще щелкают пули по домам. Заходим в какой-то двор и ждем, чем кончатся переговоры с Брусиловым. Все уверены, что он станет во главе нас.

Ждем довольно долго – около часу. И здесь, как из дома 3., нам выносят еду. Несмотря на сытость, едим, чтобы не обидеть. Наконец, возвращаются от Брусилова. – Ну что, как? – Отказался по болезни. Тяжелое молчание в ответ.

* * *

Мне шепотом передают, что патроны на исходе. И все передают эту новость шепотом, хотя и до этого было ясно, что патроны кончаются. Их начали выдавать по десяти на каждого в сутки. Наши пулеметы начинают затихать. Противник же обнаглел, как никогда. Нет, кажется, чердака, с которого бы нас не обстреливали. Училищный лазарет уже не может вместить раненых. Окрестные лазареты также начинают заполняться.

* * *

После перестрелки у Никитских ворот вернулся в училище в последней усталости. Голова не просто болит, а разрывается. Иду в спальню. За три койки от

моей группа офицеров рассматривает ручную гранату. Ложусь отдохнуть. Перед сном закуриваю папиросу.

Вдруг, рядом, у группы офицеров, раздается характерное шипение, затем крики и топот бегущих ног. – В одно мгновение, не соображая ни того, что случилось, ни того, что делаю, валюсь на пол и закрываю уши ладонями.

Оглушительный взрыв. Меня обдает горячим воздухом, щепками и дымом и отбрасывает в сторону. Звон стекол. Чей-то страшный крик и стоны. Вскакиваю. За две койки от меня корчится в крови юнкер. Чуть поодаль лежит раненый в ногу капитан. Оказывается – раненый в ногу капитан показывал офицерам обращение с ручной гранатой. Он не заметил, что боек спущен, и вставил капсюль. Капсюль горит три секунды. Если бы капитан не растерялся, он мог бы успеть вынуть капсюль и отшвырнуть его в сторону. Вместо этого он бросил гранату под койку. А на койке спал только что вернувшийся из караула юнкер. В растерзанную спину несчастного вонзились комья волос из матраса.

Юнкера, уже переставшего стонать, выносят на носилках. Следом за ним несут капитана. Через полчаса юнкер умер.

* * *

Оставлено градоначальство.[33] Там отсиживались студенты, окруженные со всех сторон большевиками. Большие потери убитыми.

---

[33] Здание градоначальства, находившееся на Тверском бульваре, в октябре 1917 г. было одним из опорных пунктов контрреволюции. После артиллерийского обстрела со стороны Страстной площади, оно было захвачено отрядом красногвардейцев, возглавляемым Ю.В. Саблиным.

* * *

Наша рота, во главе с п-ком Дорофеевым, идет спасать Комитет Общественного Спасения (?), заседающий в Городской Думе. Там же находится и последний представитель Временного Правительства – Прокопович.[34] У нас отношение к Комитету недоброжелательное. Мы с самого начала чуяли с его стороны недоверие к нам.

Около Городской Думы со всех крыш стреляют. Мы отвечаем. Из Думы торопливо выходит несколько штатских. Окружаем их и в молчании возвращаемся в училище.

* * *

Вечер. Снаряжают безумную экспедицию за патронами к Симонову Монастырю.[35] Там артиллерийские склады.

С большевицкими документами отправляются на грузовике молодой кн. Д. и несколько кадетов, переодетых рабочими. – Напряженно ждем их возвращения. Им нужно проехать много верст, занятых большевиками. – Ждем…

…Проходит час, другой. Крики:

– Едут! Приехали!

К подъезду училища медленно подкатывает грузовик, заваленный патронными ящиками.

Приехавших восторженно окружают. Кричит «ура». Они рассказывают:

---

[34] Прокопович Сергей Николаевич – в 1917 г. министр торговли и промышленности Временного правительства, член Комитета спасения Родины и Революции.

[35] Симонов Успенский мужской монастырь, расположенный на левом берегу Москвы-реки, со дня основания в 1379 г. был важным звеном южного оборонительного пояса Москвы.

«Самое гадкое было встретиться с первыми большевицкими постами. Окликают нас:

– Кто едет? Стой!

– Свои, товарищи! Так вас, перетак.

– Стой! Что пропуск?

– Какой там пропуск! Так вас, перетак! В Драгомирове юнкеря наступают, мы без патронов сидим, а вы с пропуском пристаете! Так вас и так!

– Ну ладно. Чего кричите? Езжайте! Мы припустили машину. Не тут-то было. Проехали два квартала, – опять крики:

– Стой! Кто едет?

И так все время. Ну, и чортова же прорва красногвардейцев всюду! Наконец добрались до складов. Как въехали во двор, сейчас же ругаться последними словами.

– Кто тут заведующий? – Куда он провалился? – Мы на него в Совет пожалуемся! – На нас юнкеря наступают, а здесь никого не дозовешься!

Летит заведующий.

– Что вы волнуетесь, товарищи/

– Как тут не волноваться с вами? Дозваться никого нельзя. Зовите там, кто у вас есть, чтобы грузили скорее патроны! Юнкеря на нас стеной идут, а вы патронов не присылаете!

– А требование у вас, товарищи, есть?

– Во время боя, когда на нас юнкеря стеной прут, мы вам будем требования составлять! Пороха не нюхали, да нам все дело портите! Почему, так вас перетак, патроны не доставлены?

Заведующий совсем растерялся. Еще сам же нам патроны грузить помогал. Нагрузили мы и обратно тем же путем направились. Нас всюду уж как знакомых встречали. Больше уж не приставали»…

Настроение после прибытия патронов сразу подымается.

* * *

Позже приходят тревожные вести об Алексеевском училище. Оно находится в другом конце города, в Лефортове. Говорят, все здание снесено большевицкой артиллерией.[36]

* * *

Спешно посылаем патроны на телефонную станцию. Несчастные юнкера, сидящие там в карауле, не могут отстреливаться от наседающих на них красногвардейцев.

* * *

Прибыл какой-то таинственный прапорщик – горбоносый, черный как смоль брюнет. Называет себя командиром N-ого ударного батальона и бывшим не то адъютантом, не то товарищем военного министра Керенского.

Говорит, что через несколько часов к нам на помощь должны прийти ударники. Он будто бы выехал вперед. К нему относятся подозрительно. Он же, словно не замечая, держит себя чрезвычайно развязно.

* * *

Только что прорвался с телефонной станции юнкер. Оказывается, патроны, которые им присланы, – учебные, вместо пуль – пыжи.

---

36 Здания Алексеевского военного училища, а также трёх кадетских корпусов в Лефортове, где укрепилось более 400 юнкеров, кадетов, гимназисток Мариинской и Елизаветинской женских гимназий, обстреливались два дня. После кровопролитных боёв, в ночь на 31 октября 1917 г., они были захвачены революционными частями.

– Если нам сейчас же не будут высланы патроны и поддержка, – мы погибли.

При вскрытии ящиков обнаруживается, что три четверти привезенных патронов – учебные.

* * *

Горбоносый прапорщик не наврал. С вокзала прибывают поодиночке солдаты – ударники. Молодец к молодцу. Каждый притаскивает с собой по пулеметной ленте, набитой патронами.

– Батальоном пробиться никак невозможно было.

Мы порешили так – поодиночке. Просятся в бой. Их набралось несколько десятков.

* * *

С каждым часом хуже. Наши пулеметы почти умолкли. Сейчас вернулись со Смоленского рынка. Мы потеряли еще одного.

Теперь выясняется, что помощи ждать неоткуда. Мы предоставлены самим себе. Но никто, как по уговору, не говорит о безнадежности положения. Ведут себя так, словно в конечном успехе и сомневаться нельзя. А вместе с тем ясно, что не сегодня-завтра мы будем уничтожены. И все, конечно, это чувствуют.

Для чего-то всех офицеров спешно сзывают в Актовый зал. Иду. Зал уже полон. В дверях толпятся юнкера. В центре – стол. Вокруг него несколько штатских, – те, которых мы вели из Городской Думы. На лицах собравшихся – мучительное и недоброе ожидание.

На стол взбирается один из штатских.

– Кто это? – спрашиваю.

– Министр Прокопович.

– Господа! – начинает он срывающимся голосом. – Вы офицеры и от вас нечего скрывать правды. Поло-

жение наше безнадежно. Помощи ждать неоткуда. Патронов и снарядов нет. Каждый час приносит новые жертвы. Дальнейшее сопротивление грубой силе – бесполезно. Взвесив серьезно эти обстоятельства, Комитет Общественной Безопасности подписал сейчас условия сдачи. Условия таковы. Офицерам сохраняется присвоенное им оружие. Юнкерам оставляется лишь то оружие, которое необходимо им для занятий. Всем гарантируется абсолютная безопасность. Эти условия вступают в силу с момента подписания. Представитель большевиков обязался прекратить обстрел занятых нами районов с тем, чтобы мы немедленно приступили к стягиванию наших сил..[37] В ответ тягостная тишина. Чей-то резкий голос:

– Кто вас уполномочил подписать условия капитуляции?

– Я член Временного Правительства.

– И вы, как член Временного Правительства, считаете возможным прекратить борьбу с большевиками? Сдаться на волю победителей?

– Я не считаю возможным продолжать бесполезную бойню, – взволнованно отвечает Прокопович.

Исступленные крики:

– Позор! – Опять предательство. – Они только сдаваться умеют! – Они не смели за нас подписывать! – Мы не сдадимся!

Прокопович стоит с опущенной головой. Вперед выходит молодой полковник, георгиевский кавалер, Хованский.[38]

---

[37] Договор о перемирии был заключен между Военно-революционным комитетом и Комитетом общественной безопасности.

[38] Хованский Иван Константинович, убит в 1918 г. в Добров. Армии.

– Господа! Я беру смелость говорить от вашего имени. Никакой сдачи быть не может! Если угодно, – вы, не бывшие с нами и не сражавшиеся, вы – подписавшие этот позорный документ, вы можете сдаться. Я же, как и большинство здесь присутствующих, – я лучше пущу себе пулю в лоб, чем сдамся врагам, которых считаю предателями Родины. Я только что говорил с полковником Дорофеевым. Отдано приказание расчистить путь к Брянскому вокзалу. Драгомиловский мост уже в наших руках. Мы займем эшелоны и будем продвигаться на юг, к казакам, чтобы там собрать силы для дальнейшей борьбы с предателями. Итак, предлагаю разделиться на две части. Одна – сдается большевикам, другая прорывается на Дон с оружием.

Речь полковника встречается ревом восторга и криками:

– На Дон! – Долой сдачу! Но недолго длится возбуждение. Следом за молодым полковником говорит другой, постарше и менее взрачный.

– Я знаю, господа, то, что вы от меня услышите, вам не понравится и, может быть, даже покажется неблагородным и низменным. Поверьте только, что мною руководит не страх. Нет, смерти я не боюсь. Я хочу лишь одного: чтобы смерть моя принесла пользу, а не вред родине. Скажу больше – я призываю вас к труднейшему подвигу. Труднейшему, потому что он связан с компромиссом. Вам сейчас предлагали прорываться к Брянскому вокзалу. Предупреждаю вас – из десяти до вокзала прорвется один. И это в лучшем случае! Десятая часть оставшихся в живых и сумевшая захватить ж. – дорожные составы, до Дона, конечно, не доберется. Дорогой будут разобраны пути, или подорваны мосты, и прорывающимся придется, где-то далеко от Москвы, либо сдаться озверевшим большевикам и быть перебитыми, либо всем погибнуть в неравном бою. Не

забудьте, что и патронов у нас нет. Поэтому я считаю, что нам ничего не остается, как положить оружие. Здесь, в Москве, нам и защищать-то некого. Последний член Временного Правительства склонил перед большевиками голову. Но, – полковник повышает голос, – я знаю также, что все, находящиеся здесь – уцелеем или нет, не знаю – приложат всю энергию, чтобы пробираться одиночками на Дон, если там собираются силы для спасения России.[39]

Полковник кончил. Одни кричат:

– Пробиваться на Дон всем вместе! Нам нельзя разбиваться!

Другие молчат, но, видно, соглашаются не с первым, а вторым полковником.

Я понял, что нить, которая нас крепко привязывала одного к другому – порвана и что каждый снова предоставлен самому себе.

Ко мне подходит прап. Гольцев. Губы сжаты. Смотрит серьезно и спокойно.

– Ну что, Сережа, на Дон?

– На Дон, – отвечаю я.

Он протягивает мне руку, и мы обмениваемся рукопожатием, самым крепким рукопожатием за мою жизнь.

Впереди был Дон.

* * *

Иду в последний ночной караул. Ружейная стрельба все такая же ожесточенная. Пушки же стихли.

И потому, что я знаю, что этот караул последний, и потому, что я живу уже не Москвой, а будущим

---

[39] Офицерская организация под командованием генерала М.В. Алексеева, ставшая впоследствии ядром Добровольческой армии.

Доном – меня охватывает страх. Я ловлю себя на том, что пригибаю голову от свиста пуль. За темными окнами чудится притаившийся враг. Я иду, крадучись, вытирая плечом штукатурку стен.

* * *

Началось стягивание в училище наших сил. Один за другим снимаются караулы. У юнкеров хмурые лица. Никто не смотрит в глаза. Собирают пулеметы, винтовки.

Скорей бы!

Из соседних лазаретов сбегаются раненые.

– Ради Бога, не бросайте! Солдаты обещают нас растерзать!

…Не бросайте! Когда мы уже не сила и через несколько часов сами будем растерзаны!

* * *

Оставлен Кремль. При сдаче был заколот штыками мой командир полка – полковник Пекарский, так недавно еще бравший Кремль.

* * *

Перед училищем толпа. Это – родные юнкеров и офицеров. Кричат нам в окна. Справляются об участи близких. В коридоре встречаю скульптора Баго.

– Вы как сюда попали?

– Разыскиваю тело брата. Убит в градоначальстве.

* * *

Училище оцеплено большевиками. Все выходы заняты. Перед училищем расхаживают красногвардейцы,

обвешанные ручными гранатами и пулеметными лентами, солдаты…

Когда кто-либо из нас приближается к окну, – снизу несется площадная брань, угрозы, показываются кулаки, прицеливаются в наши окна винтовками.

* * *

У одного из окон вижу стоящего горбоносого прапорщика, – того, что был адъютантом или товарищем Керенского. Со странной усмешкой показывает мне на гудящих внизу большевиков.

– Вы думаете, кто-нибудь из нас выйдет отсюда живым?

– Думаю, что да, – говорю я, хотя ясно знаю, что нет.

– Помяните мои слова – все мы можем числить себя уже небесными жителями.

Круто повернувшись и что-то насвистывая, отходит.

* * *

Внизу, в канцелярии училища, всем офицерам выдают заготовленные ранее комендантом отпуска на две недели. Выплачивают жалованье за месяц вперед. Предлагают сдавать револьверы и шашки.

– Все равно, господа, отберут. А так есть надежда гуртом отстоять. Получите уже у большевиков.

Своего револьвера я не сдаю, а прячу глубоко, что, верно, и до сих пор лежит не найденным в недрах Александровского училища.[40]

---

[40] Согласно условиям договора между воюющими сторонами, в Александровском военном училище собрались офицеры и юнкера, занимавшие близлежащие к училищу районы. Все отпускаемые предварительно разоружались и обыскивались красноармейцами.

Глубокий вечер. Одни слоняются без дела из залы в залу, другие спят – на полу, на койках, на столах. Ждут с минуты на минуту прихода каких-то главных большевиков, чтобы покончить с нами. Передают, что из желания избежать возможного кровопролития, вызваны к у<чили>щу особо благонадежные части. Никто не верит, что таковые могут найтись.

Когда это было? Утром, вечером, ночью, днем? Кажется, были сумерки, а, может быть, просто все казалось сумеречным.

Брожу по смутным помрачневшим спальням. Томление и ожидание на всех лицах. Глаза избегают встреч, уста – слов. Случайно захожу в актовый зал. Там полно юнкеров. Опять собрание? – Нет. Седенький батюшка что-то говорит. Внимательно, строго, вдохновенно слушают. А слова простые и о простых, с детства знакомых, вещах: о долге, о смирении, о жертве. Но как звучат эти слова по-новому! Словно вымытые, сияют, греют, жгут.

Панихида по павшим. Потрескивает воск, склонились стриженые головы. А когда опустились на колени и юнкерский хор начал взывать об упокоении павших со святыми, как щедро и легко полились слезы, прорвались! Надгробное рыдание не над сотней павших, над всей Россией.

Напутственный молебен. Расходимся.

Встречаю на лестнице Г<ольц>ева.

– Пора удирать, Сережа, – говорит он решительно. – Я сдаваться этой сволочи не хочу. Нужно переодеться. Идем.

Рыскаем по всему училищу в поисках подходящей одежды. Наконец, находим у ротного каптенармуса два рабочих полушубка, солдатские папахи, а я, кроме того, невероятных размеров сапоги. Торопливо переодеваемся, выпускаем из-под папах чубы.

Идем к выходной двери.

У дверей красногвардейцы с винтовками никого не выпускают. Я нагло берусь за дверную ручку.

– Стой! Ты кто такой? Подозрительно осматривают.

– Да, это свой, кажись, – говорит другой красногвардеец.

– Морда юнкерская! – возражает первый. Но, видно, и он в сомнении, потому что открывает дверь и дает мне выйти. Секунда… и я на Арбатской площади.

Следом выходит и Гольцев.

ДЕКАБРЬ 1917 г.

Долгожданный Новочеркасск. Вечер. Небольшой вокзал полон офицеров. Спрашиваю, где Барочная улица.[41]

– Пойдете от вокзала прямо, потом налево, – там спросите.

Широкие улицы. Небольшие домики. Туман. Редкие фонари. Где-то ночные выстрелы. Неистовый ветер в лицо. Под ногами промерзшая, комьями, грязь. Изредка из тумана выплывает патруль, – три-четыре юнкера или офицера. С подозрением оглядывают и снова тонут в тумане. Мороз и ветер сквозь легкое пальто пронизывают. Трясусь мелкой дрожью.

Иду, иду, – кажется конца не будет.

– Скажите, пожалуйста, где Барочная?

– Первая улица направо.

Слава Богу!

* * *

Двухэтажный дом, светящийся всеми окнами. У входной двери офицер с винтовкой резко окликает:

– Вам кого? – Могу я видеть полковника Дорофеева? – На что вам полковник Дорофеев? – Испытующий взгляд с головы до ног. – Я приехал из Москвы, и у меня к нему дело.

– Обождите. – Прапорщик Пеленкин! – кричит офицер в дверь.

---

41 На этой улице находился штаб «Алексеевской организации». Добровольцы размещались в этом же здании, а с середины ноября 1917 г. юнкера, кадеты и учащаяся молодёжь были переведены дом № 23 на Грушевской ул.

– Я! – кто-то в ответ, и в дверях показывается крохотного роста прапорщик, с громадным кинжалом на поясе.

– Этот господин полковника Дорофеева спрашивает, – проведите.

Офицер с винтовкой наклоняется к прапорщику с кинжалом и что-то шепчет ему на ухо.

– Так, так, так. Это мы сейчас расследуем, – отвечает носитель страшного кинжала. – Пожалуйте за мной!

Я попадаю в светлую большую комнату. На длинных столах неприбранные остатки ужина. Несколько офицеров курят и о чем-то громко спорят.

– На что вам полковник Дорофеев? – пронзает меня взглядом прапорщик Пеленкин.

– По делу.

– Вы откуда приехали?

– Из Крыма, а в Крым из Москвы.

– Какие же, любопытно знать, у вас дела?

– Разрешите мне сообщить об этом полковнику лично, – начинаю я выходить из себя. – Меня крайне поражает ваш допрос.

– Вам придется сказать о вашем деле мне, потому что полковника Дорофеева у нас нет.

– Вы, верно, плохо осведомлены. Я имею точные сведения, что полковник Дорофеев – здесь.

– А откуда у вас эти сведения?

– Это уж позвольте мне знать.

– Ах, вы таким тоном изволите разговаривать? Прошу вас следовать за мной.

– Никуда я за вами не последую, ибо даже не знаю, кто вы такой. Потрудитесь вызвать дежурного офицера.

– Кто я такой, вы сейчас узнаете, мрачно говорит прапорщик, сдвигая редкие, светлые брови. – А дежурного офицера вызывать нечего – мы к нему идем.

– Это дело другое. Идемте.

Подымаемся по лестнице. Меня оставляют в коридоре, под наблюдением другого офицера, а прапорщик заходит в одну из дверей.

Нечего сказать – хорошо встречают! Не успел приехать и уж под арестом! Во мне закипает бешенство.

– Пожалуйте!

Захожу в комнату. За столами несколько офицеров, с любопытством меня оглядывающих.

– Ба, да ведь это Эфрон! – раздается радостный возглас, и я оказываюсь в крепких объятиях прапорщика Блохина.

– Ведь я только сегодня о тебе с Гольцевым вспоминал. Вот молодец, что приехал! А мы уже думали, что тебя где-нибудь зацапали. Да садись ты, рассказывай, как добрался! Пеленкин-то хорош. Входит и таинственно заявляет, что задержал большевика, который рвется к полковнику Дорофееву, с тем, чтобы…

Прапорщик Пеленкин сконфуженно мнется и моргает.

– Вы простите меня, но у вас вид такой… большевицкий. Шляпа и волосы не стриженные. Я и подумал.

Все хохочут. Смеюсь и я. Пеленкин, красный, выходит.

– Хорошо, что я сразу тебя встретил. Не будь тебя, чего доброго, зарезал бы меня кинжалом этот прапорщик.

– Нет, брат. Мы Пеленкину воли не даем. Он каждый день приводит к нам десятками таких, как ты, большевиков. Он не совсем того, – и Блохин тыкает пальцем в лоб. Где Гольцев?

В карауле. Через час-два должен вернуться. Да ты расскажи о себе.

Рассказываю.

* * *

Поздно вечером, за громадным чайником жидкого чая, сидим: Блохин (убит под Орлом в 19 году), его двоюродный брат – безусый милый мальчик Юн-р (убит в сев. Таврии под Карачакраком в 20 г.), вернувшийся из караула Гольцев (убит под Екатеринодаром в марте 18 г.) – и я. Захлебываясь разговариваем.

– Большие у нас силы? – спрашиваю. В ответ хохот.

– Знаешь, мы тебе о наших силах лучше ничего говорить не будем, – смеется Блохин. – Это, брат, военная тайна. И хорошо, что иногда можно прикрываться военной тайной. Тайна часто заменяет штыки.

– Нет, не шутите, господа, скажите мне, приблизительно, сколько. В Синельникове[42] я слышал разговор матросов – говорят, тысяч до сорока.

Опять хохочут.

– Сорока тысяч? Что ты! Больше: шестьдесят, восемьдесят, – сто! И знаешь, где главные силы расположены?

– Где?

– В том доме, в котором ты сейчас находишься, – и Блохин снова заливается смехом. Но заметив недовольство на моем лице, он перестает смеяться и говорит уже серьезно:

– Видишь ли, С.Я., о силах наших говорить не приходится. Их у нас собственно и нет. Во всяком случае, в несколько раз меньше того, что мы имели в Москве. Казаков в счет брать нельзя. Они воевать не хотят и на серьезную борьбу не пойдут. И, несмотря на это, мы все гораздо спокойнее, чем были в Александровском училище, и – что знаем наверное – силы у нас появятся. К нам уже начали съезжаться со всей России. Правда,

---

42 Село Синельниково Днепропетровской обл.

помалу, но ведь это объясняется тем, что почти никто и не знает толком о нашем существовании. Едут так, на ура. А как узнают, что во главе – генерал Алексеев, десятки тысяч соберутся!

– Ну, а местное офицерство? В Ростове, например, их должно быть много.

– В Ростове ими хоть пруд пруди. Да все дрянь какая-то – по Садовой толпами ходят, за гимназистками ухаживают, а к нам дай Бог, чтобы с десяток записалось. Ну с этими-то мы церемониться не будем – возьмем и мобилизуем.

– А как с деньгами дело обстоит?

– Великолепно! Мы даже жалованье получаем – пять рублей в месяц, на табак. Новый взрыв смеха.

– Да ты не допрашивай. Сам завтра все увидишь.

– Хорошо. Но куда вы меня устроите?

– Через комнату отсюда, с Гольцевым. Мы уже переговорили с комендантом – койка есть свободная. Общество самое изысканное. Три полковника. А завтра мы тебя запишем в Георгиевский полк,[43] – подпишешь присягу.[44]

– Какую присягу?

– Завтра узнаешь. Я попрошу полковника Дорофеева, чтобы тебя неделю не тормошили, – ты скелетом выглядишь. Да и делать-то пока нечего. По караулам таскаться. Ну, а теперь пора спать – завтра рано вставать.

---

43 Георгиевский полк в составе белогвардейских сил на Юге России вел своё начало от одноименного полка, формировавшегося с весны 1917 г. в Киеве (ядро полка составляли георгиевские кавалеры).

44 Все добровольцы проходили регистрацию, давали письменное заявление о добровольном желании служить в организации.

* * *

С утра началась моя служба в Добровольческой Армии. В небольшой комнате (той самой, куда меня ввел вечером Пеленкин) помещался «маленький штаб», состоявший из нескольких полковников генштаба и гвардии и трех-четырех обер-офицеров. Во главе «штаба» стоял полковник Дорофеев. Он меня очень тепло встретил и приказал, очевидно по просьбе Дорофеева,[45] неделю отдыхать.

Я подписал присягу, которую подписывали все вновь прибывающие. В присяге было несколько пунктов, и все они сводились к тому, что каждый вступавший в Армию отказывается от своей личной жизни и обязуется отдать ее – всю – спасению Родины. Особый пункт требовал от присягающего отречения от связывающих его личных уз (родители, жена, дети).

Меня зачислили в Георгиевский полк (первый полк Добровольческой Армии), который в это время насчитывал несколько десятков штыков и свободно умещался за обедом в одной комнате. Генерал Алексеев не показывался и жил, кажется, сначала в особом вагоне, а потом в Атаманском дворце.

С раннего утра на Барочную начинали прибывать съезжающиеся со всех концов России, главным образом из Москвы, офицеры. Каждый из прибывших сообщал что-нибудь из того, оставленного нами, мира.

Вот капитан в солдатском, только что пришедший с вокзала. Его опрашивают.

– Вы откуда прибыли?

– Из Киева, после расстрела. На него с удивлением смотрят.

---

45 М. б. описка. Вероятно, речь идет о прапорщике Блохине. (Ред.)

Как после расстрела?

– Я числюсь расстрелянным, да я и был расстрелян.

И вот рассказ капитана о том, как его с другими офицерами повели расстреливать к обрыву. Поставили всех на краю и дали залп. Легко раненый в руку, он нарочно свалился вместе с другими расстрелянными под откос и, пролежав пять часов неподвижно, с наступлением темноты пробрался к своему товарищу, переоделся и поехал к нам на Дон. (Убит под Таганрогом.)

Другой – морской офицер, капитан 2 ранга Потемкин.[46] Вырвался из Севастополя после страшной резни, учиненной матросами над своими офицерами. Богатырского роста, какого-то допотопного здоровья и сложения, темные с проседью волосы, темные спокойные глаза, рыжее от загара лицо и зычный, оглушающий голос. Тихо говорить не умеет. На вопрос, что он видел в Крыму, рявкает:

– То же, что везде. Режут.

– Какой род оружия предпочитаете?

– Пока флота нет – любой. Прошу не считаться с моим чином и принять меня как единицу физической силы.

Мы его так и прозвали «единица физической силы». Он не любил говорить, не выпускал изо рта громадной трубки и, видно страдая первые дни от безделия, неустанно шагал по коридору, окруженный табачным облаком и грузно притаптывая своими медвежьими сапожищами.[47]

---

46 Потёмкин В.Н. – капитан 1 ранга.

47 Кавторанг Потемкин, будучи командиром морской роты, в кровавом бою под Батайском (за день до оставления Ростова), когда погибла почти вся его рота, был ранен в голову, потерял глаз и, с неизвлеченной шрапнельной пулей, совершил, захватив горстку юнкеров, невероятную вооруженную экспедицию к Каспийскому морю. Вернулся в Новочеркасск к нашему туда возвращению из Кубанского похода. Жив ли он сейчас – не знаю. (Прим. автора.)

Встречаю нескольких прапорщиков, знакомых по офицерской роте Александровского училища. Вообще, основное ядро собравшихся – москвичи. Говорят о необходимости сформировать Московский полк. Только вот – из кого! Нас кучка – двести-триста человек, и окружены мы общей ненавистью и непониманием. Стоит выйти на улицу, чтобы почувствовать это по взглядам – в лицо и вслед. О солдатах и говорить нечего. Меня до сих пор поражает, каким чудом мы тогда не были уничтожены. Объясняется это баснословным преувеличением наших сил. Предполагали десятки тысяч – нас было сотни. Две-три сотни и никакой еще, тогда, артиллерии.

***

В Новочеркасске, как стемнеет, то здесь то там раздаются револьверные выстрелы. Наших офицеров, на темных улицах, подстреливают. Кажется, как можно было, с такими данными, начать наше дело и поверить в его успешность? Поверили и начали.

***

В моей комнате, кроме Гольцева, помещается тихий молодой полковник артиллерист Миончинский[48] (впоследствии к-р Марковской батареи, убит под Шишкиным Ставропольской губ.), неразлучная пара однополчан – капитан, с пятью нашивками ранений на рукаве, и поручик (оба пропали без вести под Таганрогом месяц спустя) и кавказец штабс-капитан Л. (убит в Первом походе).

---

[48] Миончинский Дмитрий Тимофеевич.

* * *

Я составил записку, в которой предлагал изменить способ организации нашей, несуществующей пока. Армии, и представил ее в наш «маленький штаб».

Моя мысль сводилась к тому, что успех дела будет зависеть, главным образом, от кровной связи со всей Россией. Для установления этой связи я полагал необходимым формировать полки, батальоны, отряды, давая им наименования крупных городов России (Московский, Петроградский, Киевский, Харьковский и т. д.) с тем, чтобы эти отряды или полки пополнялись не только добровольцами, но и средствами из этих городов. Таким образом с самого начала создалась бы кровная связь со всей остальной Россией. В Москве, например, знали бы, что существует Московский полк, или отряд, или дивизия, поставившая себе целью свержение большевиков и спасение Родины. Тяга в такой полк была бы гораздо острее, чем в туманную Добровольческую Армию. Собирать средства для такого полка было бы гораздо легче, ибо с большей охотой дают деньги на нечто определенное и по размерам своим ограниченное, чем на прекрасные туманы.

Я до сих пор полагаю, что мысль моя, для того времени и при тех обстоятельствах, была жизненной.

Подав через Блохина записку, я внутренне рассмеялся над собой. К чему было подавать? Я очень хорошо знал отношение всякого штаба ко всякому предложению, приходящему извне. Да и записка-то написана прапорщиком. Для полковника, да еще генштаба, что может доброго придумать прапорщик? Подал и поставил на докладе крест.

* * *

Я хочу отметить одно позорное явление. Мы начинали свою работу в Новочеркасске и в Ростове без де-

нег. Говорят, у ген. Алексеева, когда он приступил к работе, было 400 рублей. Ростов один из богатейших городов юга России. Он дал нам крохи – если вообще что-нибудь дал. Все время мы испытывали острую нужду в средствах. Приходилось думать о каждой копейке. Иначе как предательством это поведение назвать не могу. Ростовская буржуазия заслужила те ужасы, которые посыпались на ее голову после нашего ухода. Но и эти ужасы ее не исправили. И когда мы вернулись, а впоследствии стали победоносно продвигаться на север, все так же оказались для нас запертыми сейфы и закрытыми бумажники ростовских тузов. Особенно резко гнусно это отношение сказывалось на положении наших первых лазаретов, влачивших жалкое существование без матрасов, медикаментов, продовольствия и самого необходимого оборудования.

Сейфы и сундуки открылись с приходом большевиков. Они оказались «умнее» нас.

* * *

Дня через три после подачи мною записки меня неожиданно вызвали в «маленький штаб». За столом полковник Дорофеев и еще несколько полковников.

– Это вами написана записка? – спрашивают.

– Да, мною.

– Вы знаете, чем отличается хороший проект от негодного? Хороший можно провести в жизнь, негодный остается на бумаге. Поняли?

– Так точно, понял.

– Хотите доказать, что ваш проект хорош? Поезжайте в Москву и достаньте для Московского полка денег и личный состав. Вы ведь коренной москвич, и связи у вас там широкие?

– Так точно.

– Ну так вот. Для сформирования полка и обеспечения его жизни на месяц требуется два миллиона рублей. Что касается личного состава, то, думается, офицеров нам будет раздобыть не так трудно. Гораздо труднее обстоит дело с унтер-офицерским составом. Постарайтесь выудить из Московского гарнизона все что можно в этом направлении. Ну как – возьметесь вы поехать в Москву?

– Так точно, возьмусь. Денег, думаю, раздобыть удастся. Что же касается личного состава, то, конечно, для этой цели в Москве необходимо иметь особую организацию, и не одну, а несколько. И чем больше, тем лучше – на случай провала.

– В Москве уже существует такая организация. Нужные адреса и все необходимые сведения вы получите у п-ника Т<…>. Когда вы могли бы поехать?

– Хоть завтра.

– Отлично. Начните сейчас же готовиться в дорогу. Документы, подходящий костюм и деньги получите также у полк. Т. Но, предупреждаем, – денег вы получите немного. Еле до Москвы хватит.

– Меня это не пугает.

– Великолепно. Желаем вам доброго пути и доброго выполнения задания.

Откланиваюсь.

Так, совершенно неожиданно для себя, я был командирован в Москву.

* * *

Рассказываю Блохину и Гольцеву о полученной командировке.

– Счастливый, – говорит Б-хин, – еще раз Москву увидишь, жену, родных… (Он оставил там жену.)

– Авось, скоро все там будем, – стараюсь я его ободрить.

– Там? Ты прав, – и Блохин пальцем указывает на небо.

– Полно тебе каркать, – прерывает его Гольцев. – А тебе правда повезло: Рождество в Москве проведешь.[49] Повидай моих студийцев (он работал в театральной студии Вахтангова – в Мансуровском переулке). – Поцелуй их от меня всех.

Ни тот, ни другой Москвы уже не увидели.

***

Узнав, что я еду в Москву, москвичи заваливают меня письмами. У меня их набралось до тридцати. Передавая письмо, все, как сговорившись:

– И, главное, уверяйте, что у нас прекрасно, что беспокоиться за нас нечего. И постарайтесь привезти ответ.

Полковник Т. дал мне три адреса, два шифрованных письма, солдатскую грязную шинель, папаху и полтораста рублей денег.

– Главное, прапорщик, соблюдайте осторожность. Если что с вами случится, во что бы то ни стало уничтожьте письма.

– Адресов я с собой и брать не буду. Я их и так запомню.

– Прекрасно. А вот и документ вам – вы рядовой 15 Тифлисского гренадерского полка, уволенный по болезни в отпуск. Ну, дай вам Бог!

---

[49] В Москве С.Я. Эфрон побывал в январе 1918 г.

ТИФ

Он нащупал в боковом кармане небольшой тугой бумажный сверток – шифрованные письма, важные, без адресов. Адреса отдельно в другом, жилетном, мелко переписаны на тонкой бумаге, скручены в трубочку и воткнуты в мундштук папиросы. Хорошо придумано. В опасную минуту можно папиросу закурить, а если схватят, незаметно проглотить.

Вещей мало: корзина, набитая провизией, и мешок с крошечной подушкой, сменой белья и большой, лохматой папахой. Папаха на случай, если понадобится сразу изменить внешность. Он в кепке и он же в папахе – два разных человека. И это, кажется, хорошо придумано.

Сейчас подадут поезд. Черно от толпы. Сумерки. Холодно. По навесу барабанит мелкий осенний дождь. Сизый вечерний дымный воздух пахнет гарью, нефтью, туманом. Сиро на запасных путях взывают паровозы. Лязг буферов сцепляемых вагонов.

Серая шинель рядом курит цыгарку. Острый дымок долго держится в воздухе. Промок сосед.

Сквозь махорку тянет мокрой, кислой шерстью. Топочет казачий патруль. Стройный офицер с худым волчьим лицом скашивает глаза на серую шинель. – Покажи документы!

Из-за загнутого обшлага заскорузлые пальцы вытаскивают бумажку с синей печатью. Затопотали дальше.

И вдруг… котелки, шляпы, фуражки, папахи, чемоданы, шинели, мешки, полушубки дрогнули, зашевелились, сгрудились, двинулись. Из глубины с легким гулом катились вагоны. На переднем кондуктор с площадки помахивал флажком.

«Лишь бы никого из знакомых не встретить. Будет глупо.»

Проталкиваясь к вагону третьего класса, с беспокойством косился на соседний второй. Впереди здоровый мастеровой в ухастой шапке локтями пробивался на площадку.

«Нужно двигаться за ним. Вот так.» Мастеровой на первой ступеньке.

– Ой, родимые! Ой, кормильцы! Задавили совсем!

– Мешками дорогу загородил, сволочь! Убери мешки! Тебе говорят, борода!

Борода – солдат, что махорку курил, а ругается мастеровой. Мастеровой, ногами отбрыкнув мешки, – на площадке. За ним, за ним! Схватился руками за решетку, отпихнул локтем наседавшую бабу, так еще, шаг один, – втиснулся. Сзади пыхтящей глыбой навалилась баба. От толчка мастеровой обернулся. Веснущатый, скуластый, бровь рыжая, глаз серый. Резнул взглядом. Где он видел его? Засосало. Нужно вспомнить. А мастеровой, через бабу перегнувшись, на наседавших гаркал:

– Довольно! Куда прете? Никого не пущу! В задних пусто. Эй, вы, земляки, вам говорят!

– А ты что за начальство такое?

– Все одно не пущу!

– Вали, ребята, что его слушать! Перетак его мать… Барином расселся. Самого сбросим! – А ну, попробуй!

Вдоль перрона шел патруль, оттоняя непоместившихся. Чьи-то торопливые шаги загремели по крыше.

***

«Я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам», – стучали колеса.

А баба оказалась не бабой, а девкой. Глаза маленькие – в ниточку, нос утиный, двумя пунцовыми щеками сдавленный, а губы квадратиком. Платок сдернула с

головы, вокруг шеи повязала, вздохнула, рукавом потное лицо вытерла и полезла в карман за семечками.

«Но где я его видел?» – думал он. Может, померещилось. Таких лиц сотни. Скулы, веснушки, нос вздернутый задорно, глаза серые, мышиные.

А тот уже с девкой балагурил. Подсел, зубы оскалил.

– Мануфактуру, барышня, везете? Я бы у вас для почину аршинчик-другой сторговал. Может покажете товар-то свой?

Прыснула. Щелками блеснула.

– Та-а-ва-ар! Сама бы у тебя ситцу купила. Нашел купчиху!

Солдат бородатый цыгарку скрутить успел и дымом ядовитым запыхал.

– Ты, земляк, курить бы бросил. Обхождения не знаешь. С нами барышня, а он зельем елецким в нос.

Недовольно засопела борода:

– Не сдохнет!

Капельки струйками по стеклу стекали. Запотело стекло. Темнело.

Хорошо, что с ним не заговаривают. Заговорят – врать надо, каждое слово взвешивать. Только подумал, а тот:

– Вы, господин, далеко едете? – В Белгород.

И я туда же, попутчиками будем. Сказать бы – в Харьков. Навязался попутчиком!

И час прошел, и другой прошел. Совсем стемнело. Холодно. Заснуть бы. Справа, навалившись плечом, солдат храпит. Втягивает воздух с бульканьем, а выдыхая, сопит и губами причмокивает. Мастеровой к девке совсем приладился. Что там в углу делается – не видать, только смешки, да хихиканье, да сопение сквозь стук колес доносятся.

Кондуктор, с трудом дверь оттянув, фонарем ослепил. Отпрянули в углу друг от дружки. Девка с перепугу

трепаные волосы ну платком повязывать, кофту ватную, расстегнувшуюся, на крючки насаживать. А кондуктор нарочно на нее фонарем – зырк, зырк.

– Ваши билеты!

В ус смеется на девку.

– Застегнись, застегнись, ночью холодно. И простудиться можно.

Солдата растолкали, поперхнулся солдат, закашлялся, фуражка на самый нос съехала.

– Билет, земляк, покажи. Литер твой. Опять заскорузлыми пальцами за заворот рукавный, записку подает:

– Из лазарета, домой еду. Полную получил. Хорошая куртка у мастерового, верблюжья, шершавая. Тепло ему, раскраснелся, дышит – паром пышет. Передает билет, смеется.

– Мой – дальний, товарищ кондуктор, до Белгорода. Два раза простукнули. Скоро от билета одна дыра останется.

– Гусь свинье не товарищ. Знай с кем шутишь. Рассердился кондуктор, дальше пошел. После фонаря еще темнее, еще холоднее.

Насторожился. Так вот оно что! Товарищ с языка сорвался. Хорошо, запомним. Ох, знакомая рожа! Где я…

– А вы, господин, тоже не спите?

– Да, не спится. Холодно.

– А мне так ничуть. Даже в жар бросает. Соседушка моя, что самовар рядом.

Из коридора в дверь полуоткрытую пение доносится. Там донцы пьют и поют.

«Поехал казак на чужбину далеку,
Поехал один, на коне вороном…»

А подальше солдаты свое тянут:

«Пад раки-та-а-ю зеленой
Рускай раненай лежа-ал
Пад раки-а-а-ю…»

– Вот что господин, для ради нашего знакомства, мы с вами сейчас водочки выпьем. Я вам водку, а вы закуску. Идет? Царской-то я запасся, а на базар пройти не успел. Так мы с вами и согреемся.

Какой ответ может быть, если царскую предлагают? Отказаться нельзя, врага наживешь. А тот, не дождавшись ответа, в сумку свою полез, спичкой чиркнул, свечу зажег, на сундучок чей-то стеарину накапал, свечу утвердил, потом снова в мешок за бутылкой. Даже рюмка у того нашлась. Другой корзиночку свою развязал, хлеб, телятину холодную, сыр выложил. Нож, вилка, даже салфетка у другого оказались.

– Эх, закусочка хороша! Лучку только, жаль, нет. И барышню угостим. У барышни беспременно цыбуля должна найтись. Верно я говорю, Маруся? – Хихикнула.

И водки не хотелось, и есть не хотелось, а ел и пил. После четвертой замутило, от пятой отказался.

– Что вы это, господин? Отваливаться рано. Посмотрю я на вас, слабы вы очень. Тифом, верно, хворали? Нет? Чудно. А чем, позвольте спросить, занимаетесь? По торговой, или еще чем?

– По торговой.

– По делам торговым, должно, и едете? Глаза прищурил, вот засмеется. А может, только показалось ему.

– Нет, по семейным.

– Вот оно что. Только, ежели жениться собираетесь, мой совет – гиблое дело задумали. Всякая баба норовит нашего брата обмануть. Верно, Маруся?

А сам рукой, да под кофту. И говорит, говорит без перерыва, что шмель жужжит. И слушать надоело, да слова такие вязкие, липкие – сами в уши лезут. Под разговор еще три рюмки навязал. После седьмой вдруг лучше стало. Огонь по жилам пошел. Может, почудилось ему все? Славный парень, веселый, простой, здоровьем пышет. Еще раз нащупал письма в кармане – целы, и папироса с адресами цела.

– А вы где служите?

– Я-то? Я – пролета-арий. В Белгороде, в мастерских, токарем. Хорошее дело, господин. Нашему брату платят здорово. И на войну не взяли, потому работаю на оборону, и на железной дороге к тому-ж. Все равно, что за двумя стенами. Живу припеваючи. А жениться, мой совет, бросьте. Нестоящее дело. Так – куды вольготней! Кого хочешь, того и люби. Верно, Маруся?

Опять плохо стало. Уж не трясет вагон, а качает. Медленно так: вверх-вниз, вверх-вниз. Как вверх – ничего, а как вниз – пищевод винтом скручивает. Не нужно было пить, ах, не нужно было. А тот все бубнит, все бубнит. О добровольцах и казаках заговорил, добровольцев хвалит.

– Я бы и сам бы… Мамашу жалко. Мамаша больно убивается. Старуха глупая, не понимает «единую и великую»,[50] Петя, грит, один на свете ты у меня, соколик, кормилец. Ну как тут уйти? Родителей почитать нужно, особливо на старости. Эй, господин! Никак уснул?

А господин носом клюнул, метнулся головой раз-другой и замер. Рот полуоткрыл, не-то хрипит, не-то храпит.

– Кончился буржуй. Куда ему супротив нас! С шести рюмок сгас. Маруся, глянь!

---

[50] «За единую и неделимую Россию» – лозунг Добровольческой армии.

А Маруся сама голову запрокинула, простоволосая, растрепанная, губы распустила, веки до конца не захлопнула, белки по-покойничьи кажет.

– Так, так, так, – оскалил зубы мастеровой. И сразу тихо стало. Только колеса, громче, свое: «я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам» – застучали.

И снится ему: идет он по переулку ночью. Московский переулок, кривой, узкий, вензелем выгнулся. А кругом окна освещенные и тени за окнами ходят. Глянул в одно: зала белая, люстра костром хрустальным полыхает, а вдоль стен пары, дамы в белом, а кавалеры в кирасах золотых. В другое глянул – то же, в третье – вихрем несутся. Чего бы им плясать? Вспомнить нужно, не может. Ах, вот, взята Москва!

Как вспомнил, так сгасли окна, а он под фонарем тусклым. Крыльцо, дверь войлоком обитая. Под воротами ночной сторож в тулупе спит. Разбудить бы, узнать, как дома. И вдруг сердце сжалось, дышать нечем. Умерла, умерла, умерла, если окно не освещено. Заглянуть надо. Если умерла, гроб должен стоять. И уж к окну тянется. Окно без стекла, без рамы. Почему? Может, переехала. Хотел было голову просунуть в окно, а оттуда кто-то дышит. Отпрянул: из окна мастеровой лезет, шапка с ушами, куртка верблюжья, лицо фонарем освещено.

– Пожалуйте, господин, давно вас поджидаем! В зубах у мастерового папироска. Увидел, сразу понял. Руку в карман – нет писем, в другой – нет папиросы. Хочет крикнуть, горло сжалось. Бежать! А сзади кто-то хвать за локти. Оглянулся – сторож ночной:

– Попался голубчик! Вяжи его, товарищ!

* * *

Проснулся от собственного крика. Темно. Кто-то рядом ворочается, смеется.

– Ну, и кричите вы, господин, во сне. Меня напужали. Думал – режут вас.

– Почему темно?

– Свечку задуло. Я спички ищу, а вы как зарычите. Верно во сне беса видели.

Тихонько рукою в карман, – целы письма, в другой – адреса на месте. Отлегло. Сон проклятый не даром – спать нельзя.

А мастеровой спичку чирк, свечку зажег, сразу повеселело. Девка, рот разинув, дышит тяжело, солдат бородатый мешок руками обнял, храпит.

Взглянул на часы – три. До рассвета еще пять ждать. Хмель из головы вышибло, словно и не пил. Только холодно очень, из окна дует и из двери тоже. Зайти бы внутрь, в вагон. Нет, не пройти. Из открытой двери коридора чьи-то исполинские сапоги торчат, там вповалку.

Мастеровой и тот, свечку зажегши, в угол забился, шапку ушастую на самые глаза надвинул, задремал.

Только бы не уснуть. Как подумал, так веки сами вниз поползли. А колеса свое:

«Я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам.»

Уснул.

Кто-то толкнул сильно и на ногу наступил. Вздрогнул, открыл глаза. Ослепил свет дневной, радостный, белый. Валом валит народ из вагона. Его к самой стенке приперли. Ишь заспался, глаза таращит, – засмеялся кто-то из проходящих весело. А снаружи голос мастерового:

– Вылезайте, господин! За кипятком пойдем. Я чайник раздобыл, и вы свой прихватите. Барышня пусть за вещами посмотрит.

Вскочил, потянулся и сразу почувствовал, что ночное было сном, бредом. Приятно поламывало ноги и руки. И Маруся проснулась. Переплетает косу

смявшуюся, на него, как на знакомого глядит, улыбается. Чайник быстро от корзиночки отвязал, с площадки спрыгнул и от белизны сверкающей зажмурился. Мохнатый иней облепил деревья, крыши, проволоки, траву.

А мастеровой на путях стоит, чайником позвякивает, его поджидает, ухмыляется.

– Ишь как морозом дыхнуло! Блестит-то, блестит, аж по глазам царапает! Эх, хорошо!

И вовсе не страшный он, а веселый, ласковый, уютный. И не волчий взгляд, а собачий.

– Как спали? Страху вы на меня нынче ночью нагнали. Такой крик подняли, упаси Господи. Я подумал, не в своем уме вы. Я полоумных страсть боюсь.

В конце перрона у серого цинкового бака толпились, весело переругивались, старались протолкаться первыми вперед. Из приоткрытого бака валил голубой пар и быстро таял на морозе. Пар валил и из чайников, и из улыбающихся ртов, и из трубы отдыхающего паровоза.

Первым нацедил мастеровой, вторым он; нацедили и, весело гуторя, побежали по обисеренным шпалам обратно к своему вагону. У самого вагона, он уже ногу на приступенку занес, вдруг окликнули.

– Василий Иванович, вы ли? Дорогуся! Только вчера с полковником Крамером вас вспоминали.

На площадке второго – румяный, круглолицый, бритый, такой знакомый и такой ненужный сейчас – Лихачев. Московский адвокат Лихачев, то ли министр, то ли еще кто-то, где-то и при ком-то.

– Как глупо, как глупо. Не нужно было выходить. Сам виноват, – так думал, а говорил другое, улыбаясь и кивая головой:

– Вот встреча! Какими судьбами! Куда путь держите?

Розовый ручкой в ответ:

– Ко мне, ко мне забирайтесь. У меня купэ отдельное. Да идите же скорей! Вечность с вами не виделись.

А мастеровой с площадки третьего кивает:

– Идите, господин. Ваше счастье. Я вам вещи передам. Во-втором, на мягком, куда удобнее.

Сел на мягкий диван, отвалился на мягкую спинку, уперся ногами в звезду линолеума и счастливо, совсем неожиданно для себя, заулыбался. Здесь все не походило на площадку третьего. Мягко и благосклонно стучали колеса: «хорошо, хорошо, хорошо, хорошо», на откинутом столике, меж вскрытой коробкой серебряных сардинок и бугристыми, оранжевыми апельсинами дребезжали пузатая бутылка и крошечная хрустальная стопочка; с сетчатой полки солидно и опрятно смотрели два рыжих чемодана, добротных, кожаных со старыми багажными наклейками – Москва, Варшавская и Paris. Розовый адвокат опрятностью походил на свои чемоданы. От него несло ароматным мылом, пухлые щеки, свежевыбритые, и короткие волосы, гладко прилизанные, сияли. Умные, зеленые кошачьи глаза приветливо щурились, и даже две золотых пломбы на передних зубах при улыбке посверкивали привлекательно.

– Миленький, Василий Иванович, да расскажите же – почему вы, куда и зачем? Мне полковник Крамер с восторгом о ваших подвигах отзывался. Два раза в Москву и обратно с какими-то пакетами, по каким-то секретным поручениям. Я диву дался. Бросить жену, бросить работу, так удачно начатую. В чем же дело? Расскажите, миленький.

Как рассказать ему, такому круглому? Для него все плоскость, куда ни толкни – покатится, весело, деловито, уверенно. И объяснять-то нечего. Просто случилось, что давнишнее, затаенное, почти неосязаемое выросло в неминуемую, непреодолимую неизбежность.

– Да, так как-то вот… Кашлянул и замолчал.

– Вы лучше о себе расскажите. Розовый словно только этого и ждал.

– Помните… Мы с вами… в последний раз… перед совещанием московским[51]… после него я сейчас же, ясно поняв, взвесив… не соглашаясь со своей группой и…

Покатился без остановок дальше, дальше, через октябрь кровавый московский, он предчувствовал, он предупреждал, через поход корниловский,[52] тоже предупреждал, через губернии и области, города мирные и осажденные, содрогающиеся от выстрелов и затихшие в ожидании грома, через комитеты, митинги, советы, партийные съезды, совещания, через германцев и австрийцев, Петлюру и гетмана,[53] казаков и добровольцев, – и даже через чеку прокатился. Когда говорил о чеке, улыбка на время сошла. С купцом сидел, со смертником. Сошел с ума купец и три дня перед смертью буйствовал, кулаками, ногами и головой в стену дубасил. Розовый чуть сам рассудка не лишился. К счастью, один из чекистов бывшим его подзащитным оказался, вызволил его, спас и от безумия, и от смерти. Но чека, это только неделя, когда запнулся шар, в яму закатился. А потом все пошло прекрасно, и семью он вывез, и сам устроился товарищем где-то и при ком-то.

– Сейчас, Василий Иванович, мы должны беречь себя. Мы понадобимся. Пройдет безумие, без нас там

---

51 Государственное Московское совещание, созванное Временным правительством, состоялось 12–15 августа 1917 г. под председательством А.Ф. Керенского. На этом совещании, 14 августа, Л.Г. Корнилов выступил с призывом применить военную силу в революционном Петрограде.

52 Вероятно, наступление войск на Петроград в августе 1917 г.

53 П.П. Скоропадский.

не обойдутся, как и сейчас не обходятся здесь. Я на себя со стороны смотрю. Нужен я? Необходим я? Обойдутся без меня? Нет. А потому… И покатился, покатился дальше.

Василий Иванович с улыбкой кивал, со всем соглашаясь, но слушал не слыша, не вникая в слова. Слова говорили меньше, чем щеки розовые, аромат мыла Pears, мягкий уверенный голос, сверкающие золотые коронки, университетский значок на отвороте серо-голубого просторного пиджака. В окно ломилось солнце. От стаканчика, бутылки и зеркала прыгали зайчики по лакированной двери купэ. Укачивали пружины сдобного, пухлого дивана. В вентиляторе над фонарем посвистывал ветер. Еще не топили, и в вагоне было свежо. Василий Иванович накрыл ноги пушистым пледом Розового и вздрагивал от нутряного холода. И это было приятно. Сейчас бы лечь на диван, шубой медвежьей с головой укрыться и под щекотным мехом не спать, а слушать, слушать стук колес.

– Я заговорил вас, а ведь вы нездоровы. Что с вами? Простудились? Глаза блестят и губы сухие.

– Нет, нет, я здоров, совсем здоров. Розовый недоверчиво потрогал руку Василия Ивановича. Ладонь Розового была мягкой и теплой, рука Василия Ивановича ледяной.

– Жара нет как будто бы, а вид подозрительный. И молчите вы все. Слова из вас не выдавишь. До сих пор не сказали, куда едете?

Сказать или скрыть? И еще не решив твердо, неожиданно для себя, выговорил:

– В Москву.

– В Мо-оскву?

Розовый приоткрыл глаза, перегнулся к Василию Ивановичу, и зачем-то перешел на шепот.

– В командировку опять?

– В командировку.

– А тот, в шапке, тоже с вами?

– Какой? Ах, этот, мастеровой, нет.

– Слава Богу. Он мне очень не понравился. Ну, расскажите же, расскажите!

Нетерпеливо заерзал на месте Розовый.

Василий Иванович заговорил. Он сам не ожидал этого. С ним в этот день творилось странное. От солнца ли, или от полубессонной и бредовой ночи, но все вокруг сегодня ему восторженно нравилось. Мастеровой, простоволосая Маруся, бак с кипятком, стук колес, холод. Розовый, иней – все и всё казалось прекрасным.

Случилось это так. В купэ постучали. Розовый почему-то растерялся и даже покраснел. Казалось, он ожидал появления чекистов. Василий Иванович сам открыл задвижку, и в купэ вошла дама.

– Простите. Я думала – вы один.

– Присаживайтесь. Знакомьтесь. Начинающий ученый... Запнулся. Можно ли произносить фамилию? И Розовый проглотил ее. А даму назвал ясно: Кульчицкая Елена Георгиевна.

– Кульчицкая, вы конечно слышали? Наша гордость.

Василий Иванович ничего не слышал. Он видел. Видел глаза любопытствующие, кожу смуглую, взлетевшую бровь, родинку на подбородке, милый взъерошенный мех вокруг шеи, худобу, не простую, птичью, ласточкину. Ласточка, почти стрела, носится, по сердцам острым крылом задевает. И холодком от нее веет, морозом, ледяными, снежными кристаллами. Зимняя ласточка. Каких не бывает.

Села. Улыбнулась.

– Я помешала?

– О, нет, нет, нет, мы... – Василий Иванович заторопился, – мы говорили... – О чем?

– О… судьбах.

И вовсе они не о судьбах говорили, а говорил Розовый о себе.

– О судьбах?

Опять бровь крылом взлетела.

Ну да, о судьбах. Мы говорили о том, что человек с двумя судьбами рождается. Одна, задуманная творцом, другая – свершающаяся в жизни. Розовый глаза раскрыл и потер лоб недоуменно.

– И что же? – спросила дама.

– И вот для одних судьба первая, главная, остается скрытой до могилы. Изживают они свою вторую, ненужную, суетную. А другие, меньшинство, к тайной, скрытой, задуманной судьбе прислушиваются, чуют ее и совершают безумства, подвиги, преступленья. Поэты, герои, убийцы, предатели…

Сверкнула золотая пломба, и смех неудержный, веселый, из самого нутра вырвавшийся, зазвенел, оглушил и вдруг оборвался. Увидел Розовый, как поморщилась дама и как мучительно заулыбался умолкший.

– Василий Иванович, миленький, вы не обижайтесь. Я не над вами смеялся. То есть над вами, но не обидно. Просто увидел отчетливо, как непохожи мы. Вот вы злодея, убийцу, предателя…

Но Василий Иванович не обиделся. Он прервал Розового. Слова рвались наружу неуклюжие, громоздкие, не укладывающиеся рядом, торопливые.

– Вы не поняли. Не то, не то, не то хотел сказать я. В отдельных жизнях и у народов тоже, бывает такое, когда он, человек, или – он, народ, сказать про себя может – началось. Главное началось. До этого не жил, а предчувствовал жизнь. До этого кануны, а теперь – свершения. До этого глаза чуть открытые, щелкой на мир, а теперь настежь, в упор и прямо в солнце. До

этого дорог тысячи и все чужие, а тут для каждого своя. До этого и люди и вещи – ну как воздух, что постоянно одним давлением неприметно давит, а тут – все поновому, словно весь мир первозданным на тебя навалился. До этого все цвета в мире тусклы, а здесь ни одного полутона – словно жизнь как луч солнечный через призму пропустили, и она радугой засверкала. Ну, как в детстве и солнце, и небо, и дождь, и города, и каждый встречный, все, все – становится важным, громадным, в глаза лезущим, в сердце вонзающимся. Отсюда-то наша страсть к кровопролитиям, Атиллам, войнам, революциям… Понимаете? понимаете?

Розовый улыбаясь качал головой.

– Не понимаю и не пойму. Пугачев, Разин, Атилла – Богом задуманы? Так, что ли?

– Нет, нет. Ах, Господи! Не в Боге тут дело. Может, дьяволом. Но горят-то они огнем последним. Ни стихов им не нужно, ни песен, ни романов, ни театра, ни всего искусства. Они сами стихи, сами песня, сами роман, сами искусство. Потом о них писать и петь начнут, а сами они ни в чем не нуждаются, кроме огня собственного. Их огнем питаться будут потомки. Вычеркните из истории войны, революции, Пугачевых, бунтарей и завоевателей – захватчиков и защитников – о чем писать тогда, что любить? Понимаете?

Он посмотрел беспомощно сперва на Розового, потом на даму. Розовый продолжал улыбаться, а дама, – он не ошибся, нет, не ошибся, – дама поняла. Обрадовавшись и осмелев, он заторопился дальше:

– Я ведь не фантазирую. Я по себе сужу, по тому, что со мной произошло. Не знаю, было у вас такое раньше, – у меня вот всегда было. Главное что-то прийти должно, а пока неглавное, преддверие, сплошное «пока». И вот «пока» кончилось. Началось подлинное, сущее, бытие что ли, не знаю, как сказать. Вот

жена моя, любил я ее раньше? Скажете – да? Нет, нет, нет. Только теперь полюбил. В вечность, в бесконечность, до смерти и после смерти. Только теперь чувствую ее постоянно рядом, не рядом, внутри, в себе, вокруг, всюду.

Он даже задыхаться стал, так торопился. А Розовый:

– Итак, по вашему, Василий Иванович, чтобы полюбить по-настоящему и чтобы землю почувствовать, нужна революция, или война, или еще что, кровавое и разрушительное?

Говорит и пломбой добродушно посверкивает.

– Да нет же. Это для слабых нужно. Это и без революций с другими случается. А иным и революция не поможет. Дети, не все правда, и поэты рождаются такими. А иные, и революцию пережив, без этого проживут.

Неожиданно замолк, вжался в угол, сгас, озноб кончился. Теперь говорил Розовый. Но он уже не слушал, а считал глазами мелькавшие за окном телеграфные столбы. Дама поглядывали на него с любопытством.

* * *

В Белгороде остановился у двух старушек. Розовый ему адрес дал. Старушки Розовому троюродными тетками приходились. Добрые, маленькие, седенькие и друг на друга похожи, как двойняшки. А у старушек немецкий офицер стоял. Веселый, и к хозяйкам почтительный, и на скрипке играл, соседок всех с ума сводил белизной волос и румянцем нежным, а хозяек почтительностью купил и тем, что на столе у него имелась родителей карточка.

У немца был вестовой Фриц, рыжий, большой, костистый. Кухарка его Хрыцом звала, а другие просто – Грицко. Понравилось Фрицу в России, а больше всего

понравились ему самовары. Самовар старушек Фриц начистил так, что солнцем сверкал он. И если нужно было поставить самовар, обращались к Фрицу. Деловито наливал он воду, накладывал в трубу самоварную жару из плиты и садился рядом на табуретку. Запоет золотой – заулыбается влюбленно рыжий. И не отойдет, пока не зафырчит кипящая вода.

* * *

Переменилась погода. День и ночь лило из низких, густых туч. Размякла земля, дома заборы почернели, хлюпали ноги по грязи, по необъятным лужам, от дождя ощетинившимся, по склизким камням. Редкие прохожие, подняв воротники, торопились по домам, по норам. И только на базарной площади несколько торговок, себя и корзины со снедью рогожей и мешками накрывши, дежурили отважно.

Голова разрывалась у Василия Ивановича. Второй день стучали в висках молоточки. И каждый удар – боль, и каждый удар где-то в затылке еще отдается. И ноги ноют нудно, медленно, будто сверлом кто изнутри, сквозь колени. Купил пять порошков аспирина у прыщеватого аптекаря. Мелочи лезли в глаза. У аптекаря запомнил ногти черные и еще галстук зеленый в крапинку. Проходя по площади вспомнил, что нужно съестного на дорогу купить. Подошел к бабе жирной. Снегирем насупленным сидела баба под мокрой рогожей. Когда раскрыла корзину – увидел скрюченные, противные колбасы, от жира блестящие, куски розового сала, как снегом, солью пересыпанные, и груду яиц, почему-то коричневых, словно выкрашенных кофеем.

То, что было вчера, почти стерлось. Ночлег в Харькове у Розового, уговоры остаться, уговоры температуру измерить, уговоры пойти к доктору. Кажется, всю до-

рогу до Белгорода проспал в коридоре. А та дама оказалась шантанной певицей. И в Харькове все ее звали. Розовый сказал, просто Леночкой. В толпе белгородской на станции вздрогнул. Почудилось: метнулась голова в ушастой шапке. Верно, только почудилось.

– Чего-ж, паныч, возьмете? Сало, чи яйца!

Опомнился. Купил и сало, и яйца, и колбасу, изогнувшуюся буквой С. Вспомнил, что не справился о поезде, и, хотя каждый шаг был труден, добрел к вокзалу. Надо было ехать, сегодня же ехать, иначе застрянет здесь, в Белгороде, маленьком, чужом, далеком.

Он чувствовал, что болезнь побеждает. Болезнь тяжкая, может быть, тиф, вернее всего, что тиф. Тифа не боялся. Слишком ослаб и устал. Болезнь представлялась ему длительным покоем, которого жаждал. Только бы добраться до московской берлоги, к Наташе.

Рассеянно брел по лужам, вытирая рукавом мокрые, шершавые заборы. Потонувшая в грязи улица не кончалась. Каждый дом походил на другой, каждый забор продолжал предыдущий. Его мутило от этого однообразия. Он не смотрел по сторонам, торопился, вжав голову в плечи, чувствуя временами, как холодной струйкой по хребту пробегала дрожь.

Улицу, медленно переваливаясь, торжественно переходили гуси. Он не заметил их, вспугнул, и от пронзительного гогота поднял голову. Перед ним сплошной лужей предстала площадь, а за нею скучный и серый фасад вокзала.

***

У входа топтался немецкий патруль в тяжелых шинелях. Голубоглазые солдаты скучающе следили за входящими и выходящими. Один из них, бородатый с нашивками, говорил с толстым евреем в котелке. Еврей

быстро лопотал по-немецки, довольно озираясь по сторонам, видно гордясь и тем, что говорит не по-русски, и тем, что его собеседник военный. Василий Иванович глянул с неприязнью на солдат, на бороду, на сдвинутый набок котелок, на сине-курчавый затылок и вошел внутрь. Пахнуло табаком, кислятиной и свежей краской. Оглянулся, сделал два шага и остолбенел: к нему навстречу, радостно улыбаясь, шел тот – ушастый.

– Вот где встретиться пришлось, господин! Вы, значит, дальше едете? К границе? А я решил к мамаше в Обоянь заглянуть. Намучился, беда! Еле пропуска достал. Боюсь, туда заедешь, а обратно не пустят. Вы куда же путь держите?

От неожиданности, от нездоровья – растерялся.

– Я, я… никуда не еду. Я здесь остаюсь.

– Вот оно что. Уж я-то обрадовался. Думал, попутчик есть – все веселее. На вокзал, должно, по другому делу забрели?

– Да, да, по другому. Я приятеля из Харькова жду.

Сказал и глаза опустил, потому что-тот, ушастый, зубы насмешливо скалил и глаза вострые пялил прямо в упор. И не выдержав, для себя самого неожиданно, руку тому протянул:

– До свиданья. Я тороплюсь.

Обратно, к двери, быстро, быстро и дальше.

Когда вернулся домой с покупками, старушки и румяный офицер сидели за чайным столом. Одна из старушек вязала, быстро костяными спицами перебирая, другая пасьянс веером раскладывала. Офицер немецкую газету читал, хмурился: который день с родины дурные вести. В углу, у рояля, попугай на высоком постаменте-палке почесывал тупым клювом свисшее крыло красно-зеленое. А из-под крыла когтистая лапа глядела – стоял на одной.

Заулыбались старушки, закивали обе сразу и обе сразу одним голосом:

– А мы вас ждали, ждали. Чай остыл совсем.

* * *

Он потерял чувство времени. Не было ни вчера, ни сегодня – слилось. После встречи с тем на вокзале решил ехать через границу кружным путем на лошадях. Офицер немецкий, что у старушек стоял, узнав куда он едет, надавал ему документов, пропусков, советов. Пропуска взял, советы выслушал, но ничего из того, что сказал офицер, не выполнил – забыл.

Все обошлось. По деревням встречали хорошо – он щедро платил, лошадей давали сразу, везли какими-то окольными путями, описывая осьмерки. Где-то отдыхал, где-то ночевал. В одной деревне обыски шли, кого-то ловили, хозяева его запрятали в клуню.

От растущего недомогания чувство опасности исчезло. Он вверился мужикам – они его возили, кормили, прятали. Мелочи для него вырастали в значительное, крупное ускользало. Дождь, скрипучее колесо, плач ребенка за стеной беспокоили больше, чем возможность ареста и расстрела.

В последний ночлег свой, уже по ту сторону границы, он ночь пробредил в грязной избе, изнывая от духоты, жары и навязчивых видений. Причиной послужил рассказ бабы-хозяйки. Рассказала она ему о какой-то солдатке – Дарьюшке, с дальних хуторов. Муж солдатки три года без вести пропадал. Земляки с позиций писали, что не то мертвого, не то раненого его в поле оставили. Горевала солдатка, не знала, за вдову ли, за жену ли себя почитать, за здравие ли, за упокой ли мужа молиться. А тут австрийцев пленных пригнали, в работники пораздавали их. И Дарьюшка себе одного

выхлопотала, здоровенного, пухлого, белого молодца. Немного времени прошло – понесла от него Дарьюшка. Заважничал австрияк, себя за хозяина почитать стал. А баба в нем души не чаяла. И вот третьего дня под вечер к Дарье кто-то постучался. Открыла Дарья дверь, глянула и замертво на пол грохнулась. Муж, страшный такой, другому и не узнать. Глаз выбит, через весь лоб шрам и нос на сторону. Тут у них и пошла заваруха. Дарья, в кровь избитая, с печи подняться не может, а австрияк, как мужа увидел, через плетень прыг и сгас. Только трубку свою, кишку длинную, в сарае позабыл.

Отчего-то запал этот рассказ. И всю ночь чудилось ему: то он муж солдатки, то он австрияк. То он соперника с остервенением душит, то наоборот, на него, на полюбовника, муж бросается, страшный муж, одноглазый, рубец кровавый все лицо прорезал, нос на сторону… А баба рядом, ожидает, кто осилит, кому достанется. До утра пробредил…

Пыль водяная нависла с невидимого черного неба до черной земли. Размокла земля, и колеса с хлюпаньем и чавканьем погружались в липкое тесто. Качалась телега как лодка в мертвую зыбь.

Зарывшись в солому, накрывшись поверх головы полостью, не спал. Пахло прелой соломой и шерстью, шею давил мешок с овсом, застывшие и отекшие ноги ныли. Повернуться бы! Но такая лень, такое желание покоя, что не двинулся. Бог с ними! Пусть отнимаются.

Так бы долго ехать – меж теми и другими, меж своими и не-своими, меж двумя Россиями. Жарко. Душно. Сдернул с головы полость. Защекотали мелкие капли сухой и горячий лоб. После тепла резнуло сырым холодом. Откуда-то шел мутный свет, серый, мышиный, не свет – сумрак предрассветный.

– Неужели ночь прошла? – подумал. И хотя несносно длинна она была, рассвет показался неожидан-

ным. Радостно дернулся, повернулся, привстал. Отекшие ноги заныли, в них заиграли искорки, по спине прошел холодок.

– Скоро станция?

– Вона. Огни горят. С версту, не боле. Зашевелился зипун, щелкнул языком, зачмокал губами, вяло повернул в воздухе невидимым кнутом.

– Эй, вы, сони!

Закачало сильнее.

* * *

Третья от границы станция. И все не так, как там, и все непохоже. Воздух другой, земля другая, люди другие, небо другое. В чем другое? Слов не было. Сирость какая-то, обреченность. В чем же, в чем? – Так думал, вжавшись в угол маленькой станционной комнатушки. Несколько баб и мужиков с мешками дремали, навалившись друг на друга. За столом на скамье сидела высокая, худая, зеленая дама с высокой, еще более худой и зеленой, барышней. И хоть обе в платочках, было ясно – дама и барышня. Обе не спали, обе не говорили, обе сидели прямо, сложив руки на коленях.

В разбитое окно полз молочный, тусклый, матовый свет. Два дня, как Василий Иванович держался на аспирине. Но порошки кончились. Его пробирала дрожь. Нутряным холодком подкрадывалась и вдруг схватывала так, что начинал он по-собачьи лязгать зубами. Все силы напрягал, чтобы зубы стиснуть – не мог. А даст волю челюсти, начнет она прыгать и лязгать. Не раз дама с барышней на него глаза скашивали – не безумный ли.

Проверяли документы. Двое. Один латыш или эстонец – светловолосый, матовый, пухлый, с пустыми рыбьими глазами, другой – матрос русский, вихрастый,

коренастый, задорный. Тормошили, ругались, ощупывали мешки, искали сахар и оружие. Долго стояли над сонным, рассматривая подложный документ его. Повертели в руках, что-то спросили, он вяло ответил, вернули, ничего не сказав – он значился врачом московского госпиталя, в отпуску. Поверили.

Только к вечеру он очутился в вагоне. Пассажиров было мало, говорили – в Курске понасядут. В отделении III кл. сидело лишь, трое: он и зеленая дама с дочерью. Устроился на верхней полке. Когда взбирался, почувствовал, как слаб. Словно тяжелый неуклюжий мешок приходилось втаскивать детскими, слабыми руками. Забрался, улегся, накрылся, сжался, и, когда поезд после часовой стоянки дернул и застучал колесами, почувствовал то же, что когда-то давно в детстве в начале скарлатины. Весь мир чудесным образом сузился. Тогда, во время скарлатины, он ограничивался коричневым мягким одеялом с прямоугольными фигурами по краям, зелеными ядовитыми обоями с разводами винограда, сияющей кафельной печкой, плюшевым длинноухим зайцем, волшебной разноцветной аптечной коробочкой. Сейчас внешний мир это – закапанный стеарином фонарь, стенные дощечки, выкрашенные под дуб, ручка автоматического тормоза у двери и перед самыми глазами, в стенке ножом выковыренная, надпись: «Маруся. Моя Любовь. Май 11 год». И еще колеса: «Я тебе дам, я тебе дам, я тебе дам». А снизу доносился чуть слышный говорок дамы с барышней. Стоял поезд – молчали, пошел поезд – заговорили. О чем? Вслушивался, но разобрать ничего не мог. Тихо говорили и словно не по-русски. Долго вслушивался, устал вслушиваться, уснул. И не видел, как поднялась старая дама, долго смотрела на него, спящего, и потрогав осторожно его свесившуюся руку, тихо сказала другой:

– Ardent.[54]

И видел он пруд – синий, как женевское озеро на открытках. А он на берегу песчаном. Горяч песок, жарок воздух, солнце пламенно, и уж невмоготу ему. Дышать нечем, как пергамент кожа обсохла, от жары трескается, язык опух, весь рот занял. В пруд бы броситься, выкупаться, да нельзя. Почему, не знает хорошо, но чувствует, что погибнет, если воды коснется. А глаз оторвать от синей глади не может. Вода прозрачная – видно, как рыбы плавают лениво, окуни головастые, глазастые, рты разевают.

Все жарче, все труднее дышать, как у загнанной лошади подымается грудь, но вместо воздуха песок – не песок, вата – не вата в горло лезет. Вот уже задыхаться начал и… не думая больше о гибели, разбежался – и в воду! А вода-то не холодная, а кипяток, и вместо рыб – две руки волосатые к нему тянутся и образина красная в угрях. Он от нее, образина за ним, он от нее, образина рукой лохматой хвать его за ногу. Погиб! Дернулся из всех сил – проснулся.

Стоит поезд. Курск. Топочут входящие. Привычным движением нащупал пакет и папиросу в кармане – целы.

Он видел, как заполнилось вновь прибывшими отделение. Дам заставили отодвинуться к самому окну. Три бабы, два мужика, студент, старик в чиновничьей фуражке без кокарды и несколько парней в солдатских шинелях никак не могли разместиться. Взлетали чьи-то мешки и узлы. Чья-то серая, шершавая спина утвердилась перед его носом. Он с тоскою смотрел, как эта спина все глубже и глубже усаживаясь, отодвигала его вплотную к стенке. Хотел вытянуть ноги и не мог – в ногах лежал тугонабитый, исполинский узел. Растущее

---

54 Горячий (англ.)

беспокойство охватило его. Ему казалось, что шершавая спина мешает доступу свежего воздуха. И чем дальше, тем сильнее было это чувство. Он дышал все порывистее, все громче, чудилось ему, стукало сердце, все острее пульсировали в висках молоточки. И вот, не только он дышит, не только его грудь вздымается, а все вокруг задышало: стены, фонарь, мешки, мужики, бабы и спина, что насела на него. Порывисто задышит, и все вокруг задышут порывисто, сделает несколько глубоких вздохов, и одновременно со всех сторон несутся вздохи. Сначала только дышали. Потом отовсюду застучали сердца. Из мешка, лежавшего в ногах, застучало первое, и мгновенно из всех углов, из всех мешков, снизу, сверху, отовсюду откликнулись и забились: тук, тук, тук.

«Ах, Господи, это воздух отлетел! – подумал он. – Все задохнутся. Нужно окно разбить».

Хотел поднять руку, но рука не двигалась, хотел повернуть голову к окну голова осталась неподвижной. Он застонал и забылся.

Проверяли билеты, проверяли документы, проверяли вещи – он ничего не слышал. Его не трогали. Пылающее кумачом лицо, приоткрытые, сухие губы, громкий горячий дых – для всех было ясно – тифозный. Спина, придавившая его к стенке, выругавшись, перебралась вниз. Думали было высадить.

– Всех заразит! Ему бы дома отлеживаться. И как таких в дорогу пускают!

Поговорили. Поругались. Потом привыкли и перестали обращать внимание. Только седая дама несколько раз к нему наклонялась, давала пить из белой кружки воду с каким-то порошком. Он покорно пил.

Стемнело. Кто-то вставил свечку в фонарь (казенных не полагалось). Гудел ветер в вентиляторе. Стучали колеса. Колыхалось пламя свечи, и прыгали по стенам

туманные тени. Навалились плечом к плечу, где мешок, где человек, не разобрать. Только дама с барышней уснули, как сидели, прямо, лишь головой чуть откинувшись назад. Мужики, бабы, солдаты – храпели, бормотали сквозь сон, губами чмокали.

Открыл глаза. Сразу не понял, где и что. Ослепляла разгоревшаяся костром свеча. Снизу несся звериный храп. Дребезжало стекло и стучали колеса.

Поднял голову. Порошки, что дала дама, подействовали. Голова не болела, в висках не стучало, но сладкая слабость пронизывала каждый мускул. От слабости, верно, к горлу подступала тошнота. Выше, выше, еще минута и будет поздно. Напрягая последние силы, сдерживая тошноту, он спустил ноги и грузно спрыгнул, свалился на что-то мягкое. Мягкое, перестав храпеть, бормотало сквозь сон ругательства.

Ничего не слыша, торопясь к выходу, наступая на чьи-то ноги и тела, дрожащими руками нащупывая стенку, он продирался вперед.

Темный коридор, опять чьи-то ноги, мешки, дальше, дальше, скорее. Дверь на площадку. Мокрая от пота рука, долго беспомощно шаря, не может нащупать дверной ручки. Вот нащупал, нажал, дернул – площадка. Ринулся к противоположной двери, – не поддается – рванул. Пахнуло дымным ветром, загремели колеса:

«та-та-там, та-та-там, та-та-там».

В последнее мгновение успел свесить над звенящей и лязгающей сталью голову и, судорожно уцепившись за какую-то ледяную, стальную перекладину, замер. Из горла, как из прорвавшегося нарыва, хлынула рвота…

… Отвалился. Прислонился к стенке, тяжело дыша. Из открытой двери в лицо, вместе с дымом и грохотом, ударяли холодные дождевые капли. Где-то внутри пробегали последние, слабые судороги. Капли дождя и

пота стекали струйками со лба. Но голова прояснилась, бредовой туман разошелся. Вспомнил ясно и отчетливо, где он и что он. Москва, пакет, адреса. Еще дрожащей рукой нащупал карманы – целы. Дыша все глубже, все спокойнее, он уже думал возвращаться обратно в месиво храпящих тел, как вдруг дверь из соседнего вагона хлопнула и чья-то, показавшаяся ему громадной, тень, шагнув через переход, сразу подошла вплотную. Ударил в нос густой винный дух. Тень шла ощупью. Мокрая рука ее больно ткнулась в лицо Василия Ивановича. Он вскрикнул, рука отдернулась.

– Кто здесь, мать твою перетак, ночью шляется?

От хриплого возгласа Василий Иванович содрогнулся. Знакомый, он не сразу вспомнил чей, ужасный голос. А тень, навалившись на него боком, уже чиркала спичкой.

– А чорррт! Отсырели, что ли?

И одновременно со вспыхнувшей спичкой, словно током прорезало, – вспомнил. Вжался в стенку и начал медленно оседать, опускаться, заслоняя лицо ладонями от горящей синим огоньком спички и от того. А тот, шапка с ушами, прищурившись, всматривался, секунду одну. Потом глаза у того расширились, раскрылись по-кошачьи, губы задергались не-то улыбкой, не-то гримасой, хищный, радостный огонек в зрачках заиграл.

– Ба-а! – Вот ты где?! Па-па-ался! Пять дней за тобой охочусь!

Задуло спичку. В тьму окунулись оба. Оба паровиками задышали. Рука ухастого нащупала руку Василия Ивановича, стиснула, клешней обвилась – мертвая хватка.

– Не уйдешь, кадет проклятый! В Белгород едешь? По делам семейным?! На вокзале-то приятеля встречал?! у-у-у!!.

Грохот, лязг, скрежет.

Все грузнее наваливался ухастый. Все ниже оседал, размякал Василий Иванович. Секунда – из тех, что века, – и вдруг…

Не мог понять тогда, не мог понять и потом, как случилось это «вдруг». Что-то, хлынув в голову, поплыло перед глазами. Не ударами, взрывами загремело сердце, и уж не Василий Иванович, а кто-то другой, проснувшийся в нем, изогнулся, напружинился и зубами, ногтями вонзившись, рывками извиваясь, толкал, кусал, рвал. Комком слились, где один, где другой – не разобрать. Раз себя куснул за руку. К двери открытой его проталкивал. Вот так, уже в дверях, еще одно напряжение. Но сузилась дверь, словно щелью обернулась. Втискивает, втискивает, никак вдавить его в дверь не может. Понял: молнией блеснуло – подножку дать. Изловчился, ногою – раз! Покачнулся тот. Еще, еще. Одну руку высвободил и за перекладину знакомую, вспомнил ее, уцепился. Последний толчок всем телом. Ага! Двойной крик – один ужаса смертного, другой победный, ликующий – жизнь!

Опомнился, когда струйка воды с крыши потекла ему на шею. Двумя руками судорожно держался за перекладину. Перекладина спасла. Не будь ее – покатились бы вместе. Под ногами грохотали колеса. Опомнившись, бросился с перехода на площадку, захлопнул дверь и, шаря в темноте руками, заторопился обратно, с каждым шагом чувствуя, как обессиливает.

Тела, узлы, мешки, руки, ноги, храп, духота. Вот его полка. Нащупал. Наступил на чей-то мешок, потом ноги, навалился грудью на полку и уж из последних сил вполз, стукнувшись лбом о какой-то крюк. Повернулся ничком, хотел что-то сделать, что-то вспомнить, но ничего не сделал, ничего не вспомнил – поплыл.

За окном замелькали огни. Поезд подъезжал к большой станции.

ТЫЛ

Уж очень скрипело дерево в саду. Дуло. Снежные колючки царапали щеки. Старик Лука, сторож, приоткрыв дверь сторожки, высовывал серебряную бороду, вздыхал – «ох грехи, грехи» и прятался. По дорожкам бегали снежные вьюны. Деревья качались и казались обернутыми корнями вверх.

В этот вечер особенно сыро перекликались паровозы. А черные прохожие походили на выкуренных из щелей тараканов: встретятся, пошепчутся и прочь друг от друга. Шелестел город от торопких, тревожных шагов.

Позвякивая шпорой и склонив напомаженный пробор, ротмистр Лебе внимал повелительному голосу из черной трубки.

– Слушаюсь. Есть. Есть. Есть. В пять утра посадка. Есть. Все приготовлено. Так точно. Сейчас сматываю провода. Есть. Приказания разосланы.

Честь имею кланяться, ваше превосходительство. Прапорщик Дроздов! Сходите к генералу и передайте… Прапорщик Дроздов, нахлобучив на уши лохматую кубанку, зашагал по снежной улице. Через минуту снова запел телефон.

– Адъютант. Да-да. Штаб полка? Что такое? Плохо слышно. Громче. Громче. Разъезды на двадцатой версте? Приказано держаться до утра. Во что бы то ни стало. Да. Не забудьте, что вы одни на участке. Конный переброшен. Да. Отходите по кратчайшей дороге, минуя город. Да. Знаю, знаю, что трудно. Ничего не можем сделать. Приказ ясен. Будьте здоровы.

Ротмистр потянулся, зевнул до хряса в скулах, улыбнулся чему-то и вдруг рявкнул:

– Василь!

Из соседней комнаты, распахнув дверь на стрекот машинок, вылетел, как из пистолета, краснорукий детина.

– Зайдешь ко мне на квартиру. Возьмешь два кулька, что мне сегодня прислали. Понял?

– Так точно.

– Отнесешь капитану Рыбину и скажешь – буду к десяти. Понял? Повтори.

– Господин ротмистр будут к десяти. Кульки отнести к господину капитану.

– Дурак. Иди.

Василий понесся по снежным улицам. Прохожие глядели вслед и думали:

– Ого, началось!

Его превосходительство с двумя офицерами проревел на автомобиле к вокзалу, оставив на снегу вафельный след.

– Ого-го. Дело к развязке! – решили прохожие. Телефонисты начали сматывать провода.

– Кончено! – пронеслось по городу. Последняя чахлая надежда держалась проводами. Отлетела.

Господина Исаака Рабиновича знает весь город. Чья паровая мельница? Рабиновича. Чей салотопленный завод? Рабиновича. Чья лучшая гостиница в городе? Рабиновича. Кто купил у предводителя Латохина старый дом с пятью десятинами? Все тот же господин Рабинович. Мечта всех евреев в городе – Рабинович. Мечта всех воров в городе – Рабинович. Мечта всех женихов в городе – прекрасная Сарра Рабинович.

Господин Исаак Рабинович кругл и рыж.

У него золотые волосы, золотыя ресницы, золотыя очки, золотыя веснушки, золотыя зубы, золотая цепочка, золотые перстни, золотыя запонки, золотое… Нет, о сердце промолчим, несмотря на красный корпус сиротского приюта, в котором красуется в золотой рамке господин Исаак Рабинович, похожий на рыжего Наполеона в зените своей славы.

Но… ах, какое грустное «но» – октябрь 1917 года…

В кабинет господина Рабиновича вселился заведующий хозяйством, капитан Рыбин. У капитана прострелено колено, и нога волочится, как бревно. Страшные глаза у капитана: светлые, прозрачные и жесткие, как щелк взведенного курка. И несмотря на свое могущество, господин Исаак Рабинович чувствовал себя маленькой пташкой колибри под этим взглядом.

Весь дом трепетал перед капитаном Рыбиным. Один Лука-сторож не боялся его ничуть.

– Видали мы таких-то. Важен, да не очень. Был бы барин покойник жив – не то что в дом – в переднюю бы не пустил.

Но ему хорошо в сторожке – в самом конце сада. Его и не видит никто.

– Господин капитан, разрешите войти!

– Кто там еще?

– Господин капитан, господин ротмистр приказал передать, что к десяти будут сами. И два кулька передать приказали. Звякнули кульки. – Водка?

– Так точно.

– А сапоги обтереть не мог?

Василий глянул вниз и похолодел. Под каждым сапогом по луже. Но капитан был в добром духе и дальше брани не пошел.

Господин Исаак Рабинович сидел на выгнутом штофном диване. Рядом с ним сидела, склонясь к нему, госпожа Роза Марковна Рабинович. Она походила на гигантскую шахматную королеву, так была перетянута ея талия. Белое кисельное мясо выпирало из тугого шелка под самый подбородок. С подбородка свисало, как у ящерицы.

– Я тебе говорила, Исаак – не верь адъютанту. Я тебе говорила – нанимай подводы. Где вагоны, Исаак? Где обещанные вагоны? На эти деньги мы могли бы нанять столько лошадей, что достало бы на весь город.

Где эти лошади, Исаак? Где вагоны? Где деньги? Где твой ум, Исаак?

– Ах, не скрипи. Роза. Раз адъютант взял деньги, так подводы будут.

Роза Марковна открыла было рот, чтобы ответить, но ничего не сказала. Оба вытянули шеи, прислушиваясь. Через ряд великолепных комнат шествовал капитан, волоча свою ногу.

– К нам, – прошептал Исаак Рабинович и громко высморкался.

– К нам, – прошептала Роза Марковна и оправила скрипучий шелк на бюсте.

В дверь постучали.

Ох этот разговор! С него то и началось последнее. Словно кто дернул за веревочку чету Рабиновичей – одновременно растянулись их лица в сладчайшую улыбку, одновременно вспыхнули от висков лучики, как от пули, пущенной в зеркало. Господин Рабинович встал, протянув две пухлые руки, госпожа Рабинович привстала, закивав китайским болванчиком. Лицо капитана было так же бесстрастно, как окраска казенного здания.

– Завтра, а может быть уже сегодня ночью, мы уходим. Вечером у меня собираются несколько господ офицеров со своими знакомыми. Мне хотелось бы их принять должным образом. Я не сомневаюсь в вашем гостеприимстве.

У обоих Рабиновичей глаза источали патоку, в то время, как грудь ломилась от сдерживаемого вопля:

– Вагоны!

– Мы так рады, господин капитан, услужить лишний раз. Ах, мы так рады. Мы привыкли к вам, как к родному сыну. Все в доме к вашим услугам. Но, позвольте спросить…

господин Рабинович глотнул воздух,

госпожа Рабинович глотнула воздух,

– как на счет тех вагонов, о которых мы уговаривались с ротмистром Лебе? Два товарных вагона.

– Как уговаривались, так и будет. В 4 утра казенные подводы перевезут ваше имущество в два вагона, уж приготовленных и прицепленных. Я отряжу вам в помощь несколько солдат. В час закончим погрузку.

– Ах, господин капитан, как вы меня успокоили. Ах, господин капитан, как благодарить вас, но…

– И еще, – капитан посмотрел прямо в глаза Рабиновичу, – хозяйкой нашего прощального вечера мы просим быть Сарру Исааковну.

Сказал и зашуршал ногой по полу обратно, к себе.

В саду вьюны, а в поле метелица. В сторожке потрякивание и покашливание, а в поле трое на перекрестке.

Сыпал снег, посвистывал ветер у штыков, поскрипывали шаги. Куда ни глянь снежные зыби. О чем ни подумай холодно. Ох, холодно, отходим, устали, поспать бы, погреться бы. Пожалел бы кто. За сотни верст те, что пожалеют.

– Который час, Володя?

– Девять, три часа до смены, мать их перетак!

– Табаку нет?

– Говорю же тебе, что нет. Не веришь?

– Пожалуйте, господин прапорщик, махорочки зусайловской.

– Спасибо, Лукин. Холодно? А?

– Лютая погодка, господин прапорщик.

– Царской бы. А?

– Самое время хлебнуть горячего.

У Лукина мысль гвоздем: Орловская позади – удирать пора. Деревня Быкова второй двор от околицы. Только боязно очень. Латыши,[55] сукины дети, раз два –

[55] Военнослужащие латышских национальных воинских форми-

в расход пустят. Если бы не латыши, пробраться можно бы. И у Василисы, верно, латыши стоят. Эх, Василиса, Василиса! Кабы не она – все бы нипочем! Сама смерть нипочем.

У Володи мысли другие. Нужно и – крышка. Все просто, как ладонь на солнце. Раз доброволец – воюй, забудь весь мир и воюй. Отступаем, – и это ничего. Тыл заедает, – это хуже. В Москве и до тыла доберемся. А сейчас гляди в оба за винтовкой, за солдатами, в снежную зыбь. Если же убьют… но об этом думать нельзя. Под запретом.

Не дано троим видеть дальше десяти шагов. Будь им дано – увидели бы длинную, длинную сизую ленту, как судьба медленно надвигающуюся. А загляни они в завтра – увидели бы три трупа, лежащих неподалеку от перекрестка и наполовину занесенных сыпучим снегом.

Так стелется дым над горящим торфяным болотом. Не видно огня, а душные клубы, гоня тучи мошкары, ползут и ползут на десятки верст. С испуганным кряком летят оголтелые утки, угоревшие жирные шмели валятся в траву, с тревогой поглядывает до бровей заросший лесник на багровый круг солнца: окопать бы пожар, да рук не хватит. Господа офицеры курили. Саженная скатерть уже покрылась проказой пятен. Пушка граммофона выбрасывала чей-то могучий бас. Вилки, ножи, бутылки, стаканы, челюсти и голоса старались перекричать друг друга. Ножом по стеклу прорезал звуковую поверхность женский визг и смех.

– Раз ехал в поезде один военный,
Обыкновенный,
Глупец и фат.
По чину был всего он лишь поручик,

рований, созданных летом 1915 г. во время наступления немецких войск в Прибалтике.

По виду ручек –
Дегенерат.
Сидел он с края,
Все напевая,
А мы все пили, пили, пили, пили ром…

– К черту, Лебе. К черту! Оскорбление офицерства. Большевицкая песня. Не желаю.

– Нет. Нет. Нет. Пусть поет! Я приказываю. Я дама. Пусть поет.

– Марья Николаевна!

– А мы все пили, пили, пили, пили ром…

– Где же ваша Саррочка, капатуся?

Был мрачен капитан. Так мрачен, что его соседка в фисташковом платье, с набеленным лицом и пунцовыми губами, обозвав его медведем, обратила все свое внимание на краснощекого корнета с помутневшим взором. Соседку звали Ларисой, но непослушный язык корнета твердил восторженно:

Ралиса!

Потная рука толкала ее колено и грязный сапог вконец перепачкал шелковую туфельку.

Забытый граммофон предсмертно хрипел. Потемневший лик генерала-аншефа Лотохина с благосклонной улыбкой царедворца взирал на присутствующих. В громадной клетке на окне судорожно бились разбуженные канарейки. Капитан встал и, медленно волоча свою ногу, направился к двери.

В это же время на взмыленной лошади скакал к городу всадник. Свистела нагайка по мокрому конскому заду, выплывали из снежного морока телеграфные столбы, хлюпала лошадья селезенка и звонко цокали подковы по окаменевшей дороге.

Все было уложено еще за неделю. Оставили лишь самое необходимое, без чего обойтись нельзя и что можно втиснуть в баулы, корзины, сундуки за минуту

до отъезда. Так предполагали, но необходимого и забытого оказалось столько, что не хватило ни корзин, ни чемоданов и вещами уже начинялись мешки, принесенные с мельницы. Хрустел нафталин, носился пух, вороха тряпья складывались, перекладывались, втискивались. Тринадцать Рабиновичей – родственников близких и дальних, собравшихся со всего города, помогали в укладке. Все они рассчитывали вселиться в два товарных вагона. Топот, гомон и шепот, вздохи, советы, споры заполняли вывороченные комнаты. Комоды, шкафы, сундуки и чемоданы открыли удивленные пасти. Одни пасти изрыгали, другие – поглощали. На мраморном постаменте бронзовый атлет занес молот. Серебряная дощечка гласила:

«Дорогому хозяину – благодарные рабочие». Под благодарным рабочим сидел в кресле Исаак Рабинович. К нему то и дело подходили, что-то спрашивали, что-то советовали; он на все кивал утвердительно, поминутно вытирая белым платком потный лоб. Судорожный, обморочный страх отравил его рассудок. Вместо того, чтобы приказывать и действовать, он прислушивался к содроганиям сердца и глотал горькую, желчную слюну.

Но верная подруга его Роза Рабинович была на своем посту. Мысль и язык ее работали без перебоев. Острый глаз видел все и всех.

– Яша, Яша, что вы делаете? Ножи и вилки заворачиваете в атласное платье! Для этого есть скатерть. Тетушка Реря, канделябры останутся здесь – они не серебряные. Моисей, не трогайте фигуру, пусть они подавятся своей благодарностью! Андрюша, еще веревок!

Шелковое платье шелестело повелительно. Шелковое платье казалось генеральским мундиром. На шелковом платье обозначились темные пятна трудового пота.

И… вдруг все оборвалось. Развороченный улей затих, как колесо мотора, переведенное на холостой ход. Госпожа Роза Рабинович оборвала приказание и замерла, уставив указующий перст на один из мешков.

В комнату, волоча простреленную ногу, вошел капитан.

Она была маленькая и тоненькая. Ей было девятнадцать лет, но казалось меньше. Черный волос, черная бровь и скверная, как у осеннего листа на солнце, бледность. Худые руки с розовыми локотками, почти плоская грудь, а рот горьковатый и надменный – смесь немощи и каприза, болезни и избалованности. Она лежала на диване в дальней комнате, прикрытая пушистым пледом. Голова ушла в подушку, тело было неосязаемо под гористыми складками пледа. Звякал тяжелый маятник старинных часов, ветер стучал ставней, пахло валерьянкой и пудрой. От нее скрывали происходящее, но она чувствовала. Не спала и тихо плакала.

Разговор был краток. Разговор был очень краток. Капитан подошел вплотную к госпоже Рабинович и дохнул ей прямо в лицо смрадом водки, лука и пива.

– Мы ждем Саррочку. Где она?

– Господин капитан, бедная девочка так больна, так больна…

Сердце ломилось от сжатого бюста, трещал корсет. Бледнели мокрые щеки госпожи Рабинович.

– Я должен Вас предупредить, сударыня, если не сдержите своего слова – вы, не ждите, чтобы сдержали мы. Не ждите вагонов и подвод.

Господин Исаак Рабинович очнулся. Господин Исаак Рабинович поднялся со своего кресла и с легкостью необычайной побежал в дальнюю комнату.

Три минуты молча ждал капитан, опираясь на палку. Три минуты лепетала бессвязно, ломала руки и трещала корсетом госпожа Рабинович, а через три с

половиной вводил капитан дрожащую бисерной дрожью Сарру в табачную мглу столовой.

Прапорщик Дроздов нагружал последнюю штабную подводу. Суетились в темноте солдаты, ржали лошади, топотали сапоги по опустевшим комнатам, предоставленным сквозняку.

Дверные надписи издевались:

«Вход по докладу», «Нач. Дивизии», «Дежурный телефонист», «Служба связи», «Адъютант», «Курить воспрещается», «Плевать воспрещается», «Громко не разговаривать».

Все курили. Все плевали. Все громко бранились.

– Бородин, мать твою перетак! Я тебе что приказал? Машинки вместе с делами. А ты их, осел, куда угробил?

– С консервными ящиками, господин прапорщик.

– Сейчас же перегрузить! А этим что нужно? Чего вы здесь толчетесь?

– Подводчики, господин прапорщик. Домой просятся.

– Уважьте, господин офицер. Генерал отпустил нас. Вот и бумажка Генералова с печатью. А солдаты нас опять изловили. Кони второй день без корму.

– Вон отсюда! Я сам второй день без корма.

– Семенов! Семенов!! Семенов!!! Почему стулья не погружены? Этого добра всюду вдоволь. – А в морду хочешь? Порассуждай у меня! Всадник спрыгнул со взмыленной лошади. Спотыкаясь, поднялся на крыльцо.

– Штаб дивизии?

– Был, да весь вышел.

– Мне необходимо видеть сейчас же адъютанта или начальника дивизии.

А у бывшего предводительского дома маячили двое. Один в картузе, другой в мерлушковой шапке. Один с чубом, другой стриженный. И вели меж собой тихий разговор, веселый разговор.

– Всех заприметил?
– Всех.
– Никого не упустил?
– Никого.
– Носатый-то кто?
– Аптекарь с Вознесенской.
– А тот, что мальчонка волок?
– Не признал этого.
– То-то, запоминай!

Зацокали подковы в конце темной улицы. Двое конных выплыли из тьмы. Благодарные рабочие господина Исаака Рабиновича, вжавшись в забор, высматривали. Один конный спрыгнул с лошади и вбежал в скрипучую калитку.

– Саррочка, выпейте. Вы должны выпить за наше здоровье.

Рука капитана медленно ползла по спинке ее стула.

– Пей до дна! Пей до дна! Пей до дна!

Гам. Рев. Гогот. Звенели зубы о стакан.

– Браво. Браво. Ай, да Саррочка. Лей еще.

– Раз ехал в поезде один военный
Обыкновенный
Глупец и фат…

– Ралыса, подарите мне огонь мгновенья! – Не душите меня! Не рвите платья! Ай, Ай!

– «Смело мы в бой пойдем»..

Рука капитана дошла до края спинки и медленно заползла под ее плечо. У нее мутилось в глазах. Хотела встать и не смела, хотела закричать и не могла. Ужас сковывал тело. Кто-то задел бутылку с красным вином. Никто не обратил внимания. С бульканьем вытекла пунцовая струйка, пятно росло, дошло до края, и красные капли начали стекать на ее дрожащие колени. Она не двинулась.

– Саррочка, я люблю вас. Я хочу поцеловать вас. Саррочка!

Потное, жаркое лицо коснулось ее щеки, а рука…

Звонкая пощечина оборвала гам. Побелевший капитан тихо подымался со стула. Его правая рука расстегивала кобуру нагана.

В столовую вбежало двое – багровый Исаак Рабинович и занесенный снегом всадник. Господин Исаак Рабинович бросился к дочери, а всадник, вытянувшись перед ротмистром Лебе, докладывал:

– Конница прорвалась. Конница несется к городу. Полк изрублен…

Сторож Лука спал у себя в сторожке. Тихо потрескивала лампадка. Было жарко и пахло кислым хлебом. Сторож Лука не слышал короткого выстрела.

– Ах, господин Исаак Рабинович, зачем вы вбежали в столовую!

ВИДОВАЯ

С ним произошло то, что случается ежечасно с тысячами. Но чумного не убедишь тем, что он не одинок в своих корчах, умирающий не успокоится от сознания смертности всего живого, а летящему с шестого этажа кажется, что вместе с ним разбивается вдребезги вся вселенная.

Он вошел, заложив руки в карманы и насвистывая, в комнату жены. Пахло знакомым. Со стен смотрели родные лица, и на одном из них постоянно останавливался его взгляд. Бритый юноша с зачесанными назад волосами улыбался всеми зубами. Уже три года он не носит длинных волос, и английский пробор облегает его череп, как лайковая перчатка.

Да, укоротив и пригладив волосы, он расстался с детской мечтой о славе. Рот его растянулся в улыбку, и зубы блеснули совсем как на карточке. – Слава! – С возрастом слабеет аппетит не только к еде.

Он сел в ее кресло, потянулся, заложил ногу за ногу и хотел было взяться за раскрытую книгу на столе. Синий сложенный вчетверо лист встретился с его взглядом. Лист лежал на полу оброненный. Он бы не тронул, если бы увидел его на столе. Но тайна, оброненная на пол, как и слово, произнесенное на улице – достояние всех.

Голубой листочек с водяным знаком был весомее всех земных тяжестей. Голубой листочек содрогнулся в его квадратной сильной руке. Голубой листок поставил точку, вопиющую громче любого восклицательного знака.

Сначала удивленно поднял брови. Потом сердце сжалось и бросило в голову волну кипятка. Потом кровь отхлынула, и даже губы побелели.

Встал, подошел к окну и, поднеся листок вплотную к глазам – перечел.

– Не может быть. Глупости! Глупости!

А дышать было уже нечем.

– Спокойствие. Спокойствие. Спокойствие.

Непослушными пальцами сложил синий листок, спрятал его в карман жилета и, замедляя шаг, прошел в кабинет. Вещи, книги, портреты и картины помертвели и стали ненавистными. Так раздавленному автомобилем ненавистны окровавленные булыжники мостовой.

Рванул ящик стола. С испуганным шелестом полетела всполошенная бумага. Глубже, глубже – в самое нутро – вот! Холодный, как лоб мертвеца, стальной вопросительный знак – блеснул и скрылся в боковом кармане.

Рукава пальто удивительно долго не хотели натянуться на руки. Удивительно долго не мог найти перчаток. Нашел и со стремительностью пассажира, опаздывающего на курьерский, отбарабанил лестницу.

Часы показывали половину седьмого.

Ветер дул с Запада. Он наморщинил сначала тяжелую, тысячеверстую гладь. Морщины вздулись, выросли в горы и лениво покатились к берегу. Загудел берег. Соленые камни, песок и ракушки ожили, закрутились, зашуршали, запутались в водорослях. Трепетал парус, торопясь домой, вздувались пузырем просмоленные куртки рыбаков, и быстро, быстро, опрокидывая друг друга, понеслися по взлохмаченному небу – корабли, звери, крылья. Боцманы нахмурились, побледневшие пассажиры забились в каюты, а дежурный на маяке затрещал на аппарате:

– Шторм. Шторм. Шторм. Скорость ветра 8. Направление вест, вест, вест. «Три Святителя» и «Ирландия» взывают о помощи.

Набухший брызгами и морским запахом ветер ворвался на материк. Сухая трава склонилась и зашуршала. Голые деревья, раскорячив острые ветви,

расцарапали ветру грудь. Он засвистел и понесся дальше. Гудели телеграфные провода, хлопали ставни. Прошлогодние листья взлетали и неслись, словно живые, словно было им чего ждать от этого полета. Деревья, крыши, флюгера, ворота, башни, дым, рыжие поля, неутомимые дороги и провода обгоняли друг друга неистово. Всех опередила дорога, всех оставила позади и вместе с ветром ворвалась в город.

А тучи устали, тучи замедлили бег, и, вдруг обессилив, сбросили серебряный балласт на тысячи звенящих крыш. Часы в городе показывали половину седьмого, и господин в расстегнутом пальто, хлопнув дверью, выскочил на улицу.

– Спокойствие. Спокойствие. Спокойствие. Второй поворот направо и потом все прямо до той улицы. Ах, сердце!

Оно топотало громче автобусов. И уже добежав до второго поворота – вспомнил: начало в семь, нужно прийти последним, нужно прийти в начале восьмого. Рано. Круто повернувшись, побежал назад. Прямо, налево, потом опять прямо, потом опять налево. Вот так. – Спокойствие. – Господин в расстегнутом пальто походил на муху, а улицы – на паутину.

Ветер налетел и брызнул холодным. Господин поднял воротник. Ветер распахнул пальто, раздул, затрепал. Господин застегнулся на все пуговицы.

– Ах, сердце!

Можно было подумать, – все переживали то же. Все бежали, не глядя по сторонам, задевая плечами и локтями, сталкиваясь. Все подняли воротники. Ветер раздувал юбки, рвал из рук пузатые зонты, срывал намокшие шляпы. Асфальт сиял сплошным озером. Стаей жирных дельфинов, беззвучно, как во сне, проплывали автомобили. Луны фонарей тонули в лужах. Лужи смеялись, защекоченные прыгающими каплями.

Сердитые старики трамваи со скрежетом и дребезгом разрезали улицу надвое. Одна половина с яростью неслась навстречу другой с тем, чтобы никогда не встретиться. Сплошная встреча, сплошное расставание.

Его царапало все – насмешливые удары гудков, трамвайный скрежет, острые капли, глаза витрин, подмигивающие рекламы и тупые локти прохожих. Поманил пустынный сквер. С радостью загнанной лошади, добравшейся до воды, окунулся он в голубой сумрак сквера. Сном, тихостью и голубизной сквер походил на дно аквариума. Он один нарушал тишину, скрипя мокрым гравием.

Электрическая молния стрелою вниз приглашала прохожих. У входа, на саженном листе, мок смешной господин в продавленном котелке и с кривыми ногами. Господин смотрел с грустным удивлением на бегущих мимо, а одна рука его была содрана уличными мальчишками.

Часы показывали двадцать восьмого, когда другой господин подошел к кассе.

– Торопитесь. Представление началось давно. Вам какое место?

– Ах, все равно. Впрочем, нет – дайте первое. Со шляпы господина капала вода, а рука, принимавшая сдачу, по-стариковски дрожала. Мальчик с золотыми пуговицами, шаркнув ногой, повел по лакированному коридору. Дверь беззвучно открылась. Мягкая портьера погладила щеку. Пахло жарой, кинематографическим стрекотом и душными скрипками. Господин секунду задержался на пороге. Так задерживается перед головокружительным прыжком в далекую и холодную воду пловец. Под тонким трико вздрагивают литые мускулы, уже вымерил привычный глаз кривую полета, уж было и шагнул к роковому пределу, но… вдруг замер, вобрал прощальный глоток воздуха – уже не здесь, но еще и не там, мгновение, решился, разбежался и – стремглав!

Переступил. – Повернуть бы… Убежать бы…

Но, уже не он, – ноги, мальчик с золотыми пуговицами, судьба – несли вперед.

Мальчик вспыхнул фонариком. Мальчик забегал фонариком по рядам:

– Прыг, прыг, прыг, прыг – глаза, глаза, глаза, глаза…

– Ай! – увидел.

– Господин, ваше место дальше. Куда вы?!

Не отвечая пробивался сквозь строй колен. Хлестнуло стрекочущим снопом. Голова господина в шляпе черным силуэтом промелькнула по парку, где другой – в котелке, только что получивший беззвучную затрещину, подымался с земли, с грустным удивлением смотря на обидчика.

Те, кому так нужно бы увидеть, пропустили промелькнувший силуэт. Те вовсе и не видели экрана. Позади было место. Одно единственное, сжатое каракулевым саком и пропахшим сигарой пальто. Он втиснулся, задыхаясь от многолюдия, от безвоздушия и от близости тех двоих. Сквозь вой скрипок он вслушивался в чуть слышный шепоток. Только двое и слышали: тот, к кому он был обращен, и тот, от кого отгородились кинематографом, толпой и темнотой. Оба слушали не слухом, – бьющимися сердцами, но…

Господину стало жарко. Господин расстегнул пальто, резко двинув локтем по горделивому каракулевому бюсту. А правая утонула в кармане. Под скомканным платком, массивным портсигаром и разбуженными спичками лежал в ожидании стальной вопрос, на который никто живым не получал ответа.

Горячая волна прокатилась над черными рядами. От жаркого гогота заколебался каракулевый сак, и, откинувшись назад, всхлипывало пропахшее сигарой пальто! Господин в котелке и с кривыми ногами, полу-

чив очередную и последнюю затрещину, поднялся с земли, с печальным недоумением, поклонился обидчику и, весело размахивая тростью, скрылся в аллеях парка.

По черному экрану запрыгали белые буквы.

– Я не люблю видовых, – еще сотрясаясь, проговорила каракулевая дама своей соседке.

Его рука нащупала стальную округлость и в нерешительности задержалась.

– Вынуть и нажать три раза. Просто. Спокойствие. Два в них, один в себя.

Как жертва, как птица, сжатая в кулаке, судорожным движением он повернул голову направо, налево, потом вперед.

– Ведь в последний раз!

Беззвучно, словно по воде, прямо на первые ряды несся тупоносый паровоз. Он остановился вовремя, без человеческих жертв, пустив клуб белого дыма. Стадо глухонемых пассажиров и носильщиков с непостижимой быстротою протащили свои чемоданы. Захлопнулись вагонные двери, махнула повелительная ладонь кондуктора, пыхнул паровоз, и сорвался поезд, унося улыбчивые лица и треплющиеся по ветру платки.

Весь зал прицепили к последнему вагону. Весь зал беззвучно, как во сне, поплыл по убегающим рельсам. Сцепленные кресла, многоголовая черная толпа, воющие скрипки, каракулевая дама, пропахшее сигарой пальто и тот, что сидел меж ними с опущенной в карман рукою, понеслись спинами вперед по краю пропасти, проглатывая телеграфные столбы, мимо игрушечных домиков, серых гор, стеклянного озера, шипучего водопада и островерхих колоколен. Все быстрей неслись кресла, и убегала из-под ног земля, все мгновенное мелькали столбы, все пронзительнее пробегал холодок по спине. Окунулись в черноту туннеля.

Светлое пятно сужилось в точку. Вынырнули и пронеслись по воздуху, по кружевному переплету моста. Потом накренились на повороте и, резко замедлив бег, подкатили к дебаркадеру крошечной горной станции. Стали.

Господин давно разжал ладонь. Когда вспыхнули люстры, он вскочил со своего кресла. Пробиваясь сквозь строй колен и наступая на ноги, он рвался к выходу, недоуменно посмотрел вслед ему мальчик с золотыми пуговицами. Господин в проломленном котелке и с оторванной рукой все так же мок на афише…

Куда идет этот поезд?

Через пять минут в Марсель.

Где касса?

Скорей, скорей – вы опоздаете.

Господин, вы забыли сдачу!

Развивались по перрону полы пальто. Хлопали вагонные дверцы. В последнюю секунду он вскочил в купе. Пронзительно свистнул кондуктор. Кто-то махал платком, кто-то плакал. Стучали колеса. Дама со строгим лицом удивленно смотрела на господина. Он открыл окно в дождь и ветер, потом закрыл лицо руками, и даме показалось, что он плачет. В открытое окно врывался ветер.

О ДОБРОВОЛЬЧЕСТВЕ

Добровольчество. «Добрая воля к смерти» (слова поэта),[56] тысячи и тысячи могил, оставшихся там, позади, в России, тысячи изувеченных инвалидов, рассеянных по всему миру, цепь подвигов и подвижничеств и… «белогвардейщина», к<онтр>разведки, погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерства, взятки, пьянство, кокаин и пр., и пр. Где же правда? Кто же они или, вернее, кем были – героями-подвижниками или разбойниками-душегубами? Одни называют их «Георгиями», другие – «Жоржиками».

Я был добровольцем с первого дня и, если бы чудо перенесло меня снова в октябрь 17 года, я бы и с теперешним моим опытом снова стал добровольцем. Позвольте же мне – добровольцу, на вопрос «где правда?», дать попытку ответа.

Как зародилось добровольчество?

Незабываемая осень 17-го года. Думаю, вряд ли в истории России был год страшнее. Не по физическим испытаниям (тогда еще только начинались), а по непередаваемому чувству распада, расползания, умирания, которое охватило нас всех. Дуновение тлена становилось все явственнее. Дорастерзывали и допродавали. Говорить разучились, вопили.

В ушах – грохот, визг, вопли, перед глазами – ураган, обернувшийся каруселью, а в сердце – смертное томление: не умираю, а умирает.

Это и было началом. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи, с переполнившим душу «не могу», решили взять в руки меч. Это «не могу» и было истоком, основой нарождающегося добровольчества. – Не могу выносить зла, не могу видеть предательства, не

---

[56] Эпиграф к стихотворению М. Цветаевой «Посмертный марш».

могу соучаствовать, – лучше смерть. Зло олицетворялось большевиками. Борьба с ними стала первым лозунгом и негативной основой добровольчества.

Положительным началом, ради чего и поднималось оружие, была Родина. Родина, как идея – бесформенная, безликая, не завтрашний день ее, не «федеративная», или «самодержавная», или «республиканская», или еще какая, а как неопределимая ни одной формулой, и необъемлемая ни одной формой. Та, за которую умирали русские на Калке, на Куликовом, под Полтавой, на Сенатской площади 14 декабря, в каторжной Сибири и во все времена на границах и внутри Державы Российской, – мужики и баре, монархисты и революционеры, благонадежные и Разины.

Итак – «За родину, против большевиков!» – было начертано на нашем знамени, и за это знамя тысячи и тысячи положили душу свою и «имена их, Господи, ты един веси!»

О завтрашнем дне мы не думали. Всякое оформление, уточнение казались профанацией. И потом, можно ли было думать о будущем благоустройстве дома, когда все усилия были направлены на преодоление крышки гробовой. Жизнетворчество и формотворчество казались такими далекими во времени, что об этом мы, добровольцы, просто и не говорили.

С этим знаменем было легко умирать, – и добровольцы это доказали, – но победить было трудно.

Прежде всего и с самого начала, мы не обрели народного сочувствия. Добровольчество ни одного дня и часа не было движением народным. С московских кровавых октябрьских дней до последнего Крыма мы ратоборствовали, либо окруженные равнодушием, либо, и гораздо чаще, – нелюбовью и ненавистью (исключение казаки, но на то были причины особые).

Народ требовал достоверностей, мы же от достоверностей отворачивались. Мы предлагали умирать за

Родину, народ вожделел землю. Отсюда большая народность даже «Махновщины» с лозунгом – «За землю, за мужиков, против большевиков, буржуев, помещиков», и ненародность Добровольчества с нашей «Единой и Неделимой».

О помещиках мы забыли, но они не забыли нас. Белая идея начала обрастать черной плотью. Мы бежали достоверностей, – достоверность гналась за нами. В то время как добровольцы прорывались, истекая кровью, вперед к «Единой», за их спинами и могилами жизнь оформлялась и направлялась не народом, а наросшей черной плотью добровольчества. Эта плоть также требовала достоверностей, но противоположных тем, что требовала революционная народная стихия. Тоже земля, но возвращенная прежним владельцам.

А мы назад не оглядывались. До этого ли? Вчера бой, сегодня бой, завтра бой. Вчера – смерть, сегодня – смерть, завтра – смерть. Противник дрогнул, отступает – скорей добить, скорей вперед, – туда, к Москве, там все решится, там все устроится к общей радости, к общему благу, к общему счастию.

А сзади – борьба с крестьянами, карательные отряды, порка, виселица, отбирание награбленного. В ответ – стихийная, растущая с каждым часом, ненависть к нам:

– Помещики! – Баре! – Офицерьё! – Золотопогонники!

От того, что ползло сзади, мы отмахивались.

– Не важно! – Временные меры! – A la guerre, comme a la guerre.[57]

– Всегда так бывает! – В белых перчатках не воюют! – Вот в Москве, там… Скорей в Москву!

Разложение пошло с хвоста. Мы были окружены ненавистью. Оторванные от народа, мы принимали его

---

[57] На войне, как на войне (франц.).

равнодушие, его недоброжелательство и, наконец, его злобу, как темное непонимание нашей белой цели. Мы за них, а они на нас. Черная плоть приросла крепко, мы к ней привыкли, перестали замечать ее, в ответ на равнодушие, недоброжелательство, злобу, – равнодушие, недоброжелательство и злоба же. Кто не с нами, тот против нас, – кто против нас, тот против Родины, а потому…

Идея отрывалась от земли все выше. Земля наваливалась на нас всей своею тяжестью.

И опять дух тлена, но уже над нами. С каждым днем черная плоть удушала все теснее, все сильнее захлестывало чувство злобы, мстительности, отчаяния, усталости. Мы изнывали от язв, внутренних и внешних. Малодушные отставали и опускались, сильных косила смерть, а наша цель – Москва, приблизилась, как никогда. Еще одно последнее усилие, еще раз, последний раз, напрячь мускулы духа – и мы обретем «Единую и Неделимую». Но яд проник чересчур глубоко. Гангрена с хвоста через центр доползла до действующих полков. Нужный мускул не напрягся, а только судорожно вздрагивал. Удар и… сначала поползла, а потом понесла назад разложившаяся. Мародерствующая, изъязвленная, озлобленная лавина. Орел, Курск, Обоянь, Белгород, Харьков, и дальше, дальше – к Ростову. Последний удар, – за Дон зализывать раны.

И странно, чем хуже, чем чернее, тем сильнее гордыня. Пьяный мародер бил себя кулаком в грудь и кричал, что он доброволец; взяточник – к<онтр>-разведчик, вымогатель, кокаинист, преступник, проповедывал «Единую и Неделимую»; Начальник государственной стражи, бывший пристав или становой, от которого стонала вверенная ему округа, призывал к исполнению долга и принесению всевозможных жертв на «алтарь отечества».

На Дону не удержались. От нас отвернулись кубанцы. Ордой переплыли в Крым. Последняя отчаянная попытка. Вчерашний мародер снова пошел умирать, уже не помышляя о грабежах, к<онтр>-разведчик сжался и спрятался, нач<альник> государственной стражи присмирел. Землю крестьянам решили отдать за небольшой выкуп.[58]

Но время было упущено. Там, в России, нам уже не верили. Отступающая лавина оставила после себя незабываемый след. Да и от черной плоти мы отделались лишь наполовину. Она не была изничтожена, а лишь притихла, припрягалась по углам до лучшего для себя времени.

Четырехмесячная неравная борьба. Опять тысячи и тысячи могил. Смерти, смерти, смерти и… сброшенные в море, изрыгнутые Россией, добровольцы очутились на пустынном Галлиполийском побережьи.[59]

Год голодного томления, переезд в Болгарию, Сербию, распыление, постепенное превращение армии в «во рассеянии сущих».

Таков крут добровольчества. Я с умыслом сделал этот краткий обзор пути. Без него нельзя было бы дать ответа, чем же были добровольцы – «Георгиями» или «Жоржиками»?

---

[58] Генерал П.Н. Врангель издал приказ, согласно которому земля подлежала передаче в собственность крестьянам, с обязательством выплаты государству её стоимости (единовременно или в течение 25 лет) сборами хлебом или деньгами. (Большевиками Декрет о земле, ликвидировавший помещичье землевладение, был принят значительно раньше: 26 октября 1917 г., на II Всероссийском съезде Советов).

[59] Здесь были устроены лагеря для Русской армии под командованием генерала А.П. Кутепова. Большинство офицеров разместилось в палатках (по 100 человек в каждой), предоставленных французским правительством. Семейные устроили землянки и каменные лачуги.

Мой ответ: «Георгий» продвинул Добровольческую Армию до Орла, «Жоржик» разбил, разложил и оттянул ее до Крыма и дальше, «Георгий» похоронен в русских степях и полях, «положив душу свою за други своя», «Жоржик» жив, здравствует, политиканствует, проповедует злобу и мщение, источает хулу, брань и бешеную слюну, стреляет в Милюкова, убивает Набокова,[60] кричит на всех перекрестках о долге, любви к Родине, национализме. Первый – лик добровольчества, второй – образина его.

Но не все добровольцы «не-Жоржики» убиты. Тысячи и тысячи их рассеяны по рудникам Болгарии, по полям Сербии, по всем просторам земным не только Европы, но и Африки, Азии, Америки. Многие, может быть большинство из них, после гражданской войны научившись умирать, разучились жить, потеряли вкус к жизни. Святое дело, которому служил, провалилось; жизнь, которую отдавал, осталась; Родина, ради которой шел на подвиг, – отвернулась и отвергла. И вот, вместо жизни – прозябание, вместо надежды и веры – равнодушие.

Что делать и в чем дело?

Должен оговориться: я делю добровольчество на «Георгия» и на «Жоржика». Но отсюда не следует, что каждый данный доброволец является либо тем, либо другим. Два начала перемешались, переплелись. Часто бывает невозможно установить, где кончается один и начинается другой.

И первейший наш долг, долг и перед Родиной, и перед теми, кто похоронен тысячами в России, и перед самими нами, освободиться, наконец, в себе и во вне,

---

60 Покушение на П. Н. Милюкова во время его выступления в Берлине в 1922 г., в результате которого погиб В. Д. Набоков, пытавшийся обезоружить террориста.

от этого тупого, злого, бездарного Жоржика, застилающего нам глаза запоздавшими на столетия прописями, затыкающего нам уши своими надсадными воплями, – всеми способами мешающего нам всматриваться и вслушиваться в то, что нарождается там, в России.

И первое, что все мы, не желающие порывать связи с Россией, верящие в нее, должны сделать, это отбросить, избавиться от гордыни и злобы. Не будем бояться язв своих. Чтобы от них избавиться, нужно их обнаружить. А чтобы их обнаружить, нужно обрести смирение. Не скрыть, а вскрыть. Мы потерпели поражение, и поражение это не случайно, оно в нас самих.

Почувствовать собственную вину, собственные ошибки, собственные преступления мы обязаны, если не хотим порвать окончательно связи с Россией, не хотим сделаться духовными изгоями.

Мы не должны самообеляться, взваливая ответственность на вождей. Язвы наши носили общий и стихийный характер. Мы все виноваты: черная плоть, наросшая при нашем попустительстве, сделалась частью нас самих. Мы поддерживали друг друга, питались друг другом, заражались друг от друга. Мы оказались не обладающими необходимым иммунитетом.

А народ?

Возненавидев большевиков, он не принял и нас, хотя и жаждал власти, порядка и мира. Он пошел своей дорогой, – не большевицкой и не белой. И сейчас в России со страшным трудом и жертвами он пробивает себе путь, путь жизни от сжавших его кольцом большевиков.

Мы, научившиеся умирать и разучившиеся жить, должны, освободившись от язв и не устыдившись их, – ибо не ошибается только тот, кто сидит сложа руки (а сколько таких!), – мы должны ожить и напитаться

духом живым, обратившись к Родине, к России, к тому началу, что давало нам силу на смерть.

Наш стяг остался прежним. «Все для Родины» должно пребыть, но с добавлением, которое уже не дает повторения старых ошибок:

– «С народом, за Родину!» – Ибо одно от другого неотделимо.

ЦЕРКОВНЫЕ ЛЮДИ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Наше время сверхъестественно. Набрасываются кроки будущего здания, начерно производится расчет. Зодчий, допустивший вначале ошибку, даже незначительную, не завершит своего произведения. Купол неминуемо обвалится либо в процессе работы, либо вскоре после завершения ее. Поэтому-то должны мы с особым трепетом подходить к целому ряду вопросов, связанных с современностью. Ибо приходится иметь дело не с обычной современностью, а с катастрофической, и не о ремонте русской храмины идет дело, а о возведении нового здания на родном пепелище.

Это не означает, конечно, что мы во всем порываем со старым. Таких разрывов история не знает, а утверждающие обратное – просто безграмотны, и с ними спорить – только время терять.

Кроме людей, стремящихся во что бы то ни стало «отречься от старого мира» начисто (таковых не очень много, и вряд ли поэтому они представляют реальную силу), имеются другие в количестве гораздо большем и настроенные полярно противоположно. Если первые «отрекаются от старого мира», то вторые не менее страстно отрекаются от нового. По их словам Русский купол рухнул не потому, что какие-то устои его оказались негодными, а потому, что с безбожного Запада появились злые бациллы демократизма и социализма. В первую голову заразилась этим безбожием интеллигенция, распространившая заразу далее – в народных низах. Отсюда – лечение русской болезни просто. Всеми силами нужно стремиться к восстановлению старой иерархии, старых форм жизни и изгнать из России демократический принцип, основанный на чистом ratio, а потому безбожный. Демократизм этот, так же, как и социализм – от антихриста, ибо первый исходит

из домогательств власти (право на участие всех во власти), а второй – из домогательства равномерного распределения благ земных. Зло, которое западный человек переносит легко, для русского – смерть. Русские никогда не могли привить себе секуляризованной морали, юридического и государственного самосознания. Либо все через Христа, и тогда это все ясно н определенно, либо, ежели без Христа, то грабь награбленное, режь, жги, сатаней – все дозволено! Даже в стенах Церкви православные люди не переносили нормативного начала. Они насыщали свой духовный голод не от церковных иерархов, а от странников, калик перехожих, старцев. Стремление к свободной соборности и соборной свободе вне официального богословия (часто не совпадавшего с этой религиозной стихией) – в жизни церковной, и неуменье, нежелание участия в государственной жизни – вот два основных ценнейших и опаснейших исконных начала русского человека. Отсюда экономический материализм обернулся в России в безбожную и жестокую деспотию, а демократические принципы в худосочную и бессильную «керенщину». А потому следует твердо обернуться назад к прежней исходной точке всего русского творческого духа – соборной стихийной церковности, а внецерковное государственное строительство укрепить на старой основе, т. е. на отказе от демократических домогательств личности и на пассивном и абсолютном предоставлении «кесарю кесарево».

Вот, в кратком и потому в огрубленном виде, одна из точек зрения, выставляемых группой церковных людей. Мне хотелось бы коснуться тех же вопросов в той их части, которая старается разрешить для человека православного его подход к сегодняшнему и завтрашнему в России.

Я соглашаюсь почти во всем с вышеназванной группой в ее характеристике русской религиозной сти-

хии. Да, стихия эта была апокалиптична, да, она была пассивна в строительстве жизни земной (государственной), да, – стихия эта, оторванная от Бога, страшна, ужасна, разрушительна, да, верю в это, русское православие, обращенное к Христу Воскресшему, полно творческой потенции, доказательством чего в литературе является Достоевский. Согласен, поскольку дело идет об утверждении русского человека на абсолютном начале – Боге, Церкви Христовой.

Но лишь только вопрос обращается к иному, к устроению жизни земной (государство, социально-экономические отношения, борьба с коммунистической властью и пр., и пр…), я не только не соглашаюсь с выводами этой группы, но считаю их опаснейшими, как при разрешении неотложных боевых вопросов сегодняшнего дня, так и далекого завтрашнего.

Исхожу из того, что в человеческой жизни индивидуальной и общей есть два начала: абсолютное и относительное. Абсолютное, иными словами – религиозное, является как источником творческой народной стихии, так и конечной целью существования коллектива и личности. Относительное – есть путь, есть приспособление, есть нечто – вечно меняющееся, в зависимости от тех или иных внешних, земных условий. Эти два начала здесь, в земной жизни, слиться не могут, поскольку мы живем не в одном духе, а во плоти, и окружены не духами, ходим по земле, питаемся, одеваемся и т. д. Но отсюда не следует, что эти два начала разобщены, живут каждое самостоятельно, само по себе. Второе напитывается первым, стремится к первому и, ежели естественное отношение меж ними не нарушено, бесконечно приближается к первому без возможности слития воедино, ибо «Царство Его не от мира сего». Устранение первого знаменует в истории народа смерть или умирание его духовной культуры,

его духовного творчества. Пренебрежение ко второму ведет, в конечном, к страшным социальным и политическим потрясениям. Эти потрясения бывают столь страшны, что народ, их перенесший, может растратить на преодоление катастрофы все силы свои, может окончательно обескровиться, лишиться своей жизненной потенции. А т. к. народ является носителем первого абсолютного начала, то второе – относительное оказывается теснейшим образом связанным с первым, не только как с источником питания, но и как необходимое условие для существования первого. Ибо, как бы ни был богоносен народ, он может исчезнуть и обескровиться благодаря своему внутреннему неустроению или же пренебрежению к благам относительным (государство, социально-политическое благоустройство и т. д.).

Русская революция, со всеми своими последствиями, показала резко и грубо, как высоко следует расценивать эти относительные блага. Она показала также, что при «женственной пассивности» русского народа в деле государственного самоустроения возможно кучкой атеистов невиданное гонение Церкви и веры, которую исповедует громадное большинство русского населения. С сатанинской методичностью большевики вырезают и изгоняют из России духовных вождей Православия. Благодаря этой пассивности растлеваются души сотен тысяч русских детей.

Как же вывести Россию из смертного тупика? Группа упомянутых мной церковников строит путь спасения, имея в виду лишь первое абсолютное начало, не желая считаться со вторым.

Пусть женственная народная стихия отдается взысканию Града Небесного, Небесного Иерусалима, а мужественный лик будет явлен в царе с его иерархией, построенной сверху, как было до революции. Царь бе-

рет на себя грех и бремя власти, народ пассивно ему подчиняется, церковь «пассивно освящает» эту власть. Запад нам не указка. Он переживает свой закат именно потому, что форма демократическая оторвалась от религиозного содержания, богочеловечество заменилось человекобожеством.

Соглашаясь с тем, что Запад, действительно, переживает культурный кризис, я не считаю, что положение это может послужить причиной отношения к Западу, как к зачумленному очагу. Культурный опыт Запада именно в области относительных благ нам не только не вреден, но необходим. Мужественную западную самодеятельность в устроении государственной и политической жизни мы должны впитать в себя, и не в этом ли одна из первых наших миссий, нас – «в рассеянии сущих».

Но, с нашим русским опытом, ставя правильный диагноз болезни Запада, не будем повторять невольной ошибки некоторых наших отцов. Не будем жертвовать Герценом ради Достоевского и Достоевским ради Герцена. Не будем разделять непроходимой стеной области относительных благ от области абсолютных, ибо чем теснее нам удастся приблизить их друг к другу, тем меньше будет возможностей в будущем для разрушительных катастроф. Наша будущая творческая работа должна идти по двум руслам. Одно из них – сбережение религиозно-духовного богатства России, выявленного в Православии, другое – устроение, с чувством ответственности каждого (res publica[61]), нашего русского дома, памятуя, что без этого дома (относительное благо) России суждено сгинуть, или уподобиться народу еврейскому без территории и государства.

Россия должна явить свой мужественный лик. И в этом выявлении должны принять участие все, все в

---

61 Общественное дело (лат.)

атом ответственны, никто не может от этого отказаться. Отсюда наш демократизм, который содержит в себе не только «домогательства самочинной личности», но и чувства страшного долга и ответственности каждого и всех перед каждым и всеми за ту форму земной жизни, которую мы все собираемся строить. А то, что отцы и учителя демократии безбожники, нас путать не должно, как не пугало Константина Великого то, что до него монархия зиждилась на язычестве, а православнейший Юстиниан не убоялся использовать для своего знаменитого codex'а языческие же образцы.

Лучшие люди Запада, по словам Бердяева, вперяют свой взор на Восток в надежде обрести у нас заглохший в Европе родник жизни. Может быть стена, разделявшая, благодаря многовековому церковному распаду, Россию и Запад, и есть, в первую очередь, причина как русской катастрофы, так и западного духовного кризиса. Мы были лишены плодов западной культуры, они – нашего религиозного опыта. Западная культура направила свой творческий гений к созданию тех относительных благ, потеряв которые мы, русские, с такой жадностью их возжаждали. Западный человек, несмотря на свою оторванность от церкви, на религиозную теплоту свою еле ощутимую, а часто и на отсутствие всякого религиозного начала, сумел бороться с большевизмом, устоять от него до сего времени и, в конце концов, вероятно, отстоит свои «относительные блага». А пороха для взрыва в странах побежденных было не меньше, если не больше, чем в России: страшная война, поражение, голод, миллионы рабочих-социалистов, русская коммунистическая зараза. Устояли и отстояли. Думаю, что устояли именно потому, что чувствовали государство как свое государство, законы как свои законы, правовой порядок как свой правовой порядок. Содружество всех, соучастие всех, соответственность

всех – демократия. У нас же все то, что было на Западе личным, все, говоря о чем употребляли первое лицо местоимения – «мое», «наше», «у нас», – все это ощущалось как постороннее, не свое: «ихнее», «барское», «царское», «самодержавное». «Ихнее», «барское» – для народа, «царское», «самодержавное» – для интеллигенции. И даже то, что давалось этим самодержавием несомненно положительного, только теперь интеллигенцией, да и то не всей, принимается как ценность. Вспомним русский Суд. Царская охранка для широкого русского общества заслоняла русские судебные установления, занимавшие одно из первых мест меж западных. Для одних суд был «барским», для других – «царским». Лишь теперь вспомнили, когда вместо суда в России процветает «пролетарская справедливость».

Итак, что же делать? Взамен дурного русского круга, приведшего к революции, приниматься ли чертить новый тем же циркулем, как предлагают некоторые?

Мы отвергаем этот способ. Мы полагаем необходимой и основной предпосылкой в нашей будущей работе устранить начальную первопричину Русской Революции. Отныне в области относительных благ не должно быть деления на «наше» и «ихнее» на «свое» и на «царское с барским». Все ответственны в том строе жизни, который нам предстоит создавать, а ответственность вытекает из соучастия. Пусть мужественный русский лик выявится не в бунте Разина, Пугачева, Буденного, а в демократическом соучастии всех в работе. Не произвол, а ответственность, не бунт, а труд.

Мы не против иерархии, а против гнилой иерархии. Корни иерархического дерева должны быть в народной толще, а не в бюрократических верхах. Мы против народной пассивности в государственно-строительной жизни, ибо эта пассивность неминуемо

заканчивается дурной активностью – бунтом. Мы именно в этом видим первопричину русской катастрофы.

Но мы не переносим свою демократичность в круг абсолютных ценностей, как это делали наши западники. Демократия – это лишь средство, лишь форма для выявления русскими своего мужского творческого лика. А стихийное начало, исток, содержание, то, чем все должно напитываться и к чему все должно стремиться – то же:

Любовь, Христос, Церковь.

О ПУТЯХ К РОССИИ

Не путь, а пути, ибо не партия, а челове́ки («люди» не есть множественное от «человек». Разница людского и человеческого). Больше: партийное, предвзятое сейчас нетерпимо. Оно было источником тысячи русских бед, а, может быть, и основной русской беды. Есть два рода общности: общность, рождаемая человеческим (общее прошлое, вера, опыт, профессия и пр.) и общность как подчинение догме. Общность изнутри и общность извне. Общность лиц и общность безличии. Вторая нам хорошо известна по недавнему прошлому. Вспомним лозунги революции и людей, объединяемых ими:

«Нету лиц у них и нет имен,
Песен нету…» [62]

Это не означает, что будущее обойдется без партий – партии будут, но возникнут они путем объединения лиц, одним – кровно-затронутых и в одном – кровно-нуждающихся. Такие объединения в России начинают намечаться езде до образования там партий и союзов (крестьянство). Партии будут организмами, а не казармами догм.

Каковы же пути к России, намечаемые эмиграцией (я подразумеваю не политические, а психологические). Примитивнейший и иерархически-последний – путь идейных сменовеховцев.[63] Они, опрощаю и обобщаю,

---

[62] Из стихотворения М. Цветаевой «Над церковкой – голубые облака…»

[63] Движение, возникшее в начале 1920-х годов в среде русской зарубежной либерально настроенной интеллигенции. Их программным документом стал сборник статей «Смена вех» (Прага, июль 1921 г.)

рассуждают так: «я русский, я желаю слиться с Россией, Россия превратилась в СССР, СССР оглавляется коммунистической рожей, – ergo, желая оставаться русским, я принимаю эту рожу, как свою» (об этой группе прекрасно писал и говорил Ф. А. Степун[64]). Ложность и неприемлемость этой формулы для нас очевидны. Мы прекрасно отличаем насильственно надставленную рожу от лица и вечного лика России. Мы ясно видим двойной грех идейных сменовеховцев: убийственное для каждого из них лицедейство, выражающееся в отказе от самого себя, от собственного лица, и духовное соучастие в страшных преступлениях тех, рожу которых они принимают.

Второй путь к России, хотя и более людный, труднее определим. На него вышли все те, кто во что бы то ни стало решил принять сегодняшнее лицо России, по тем же самым побуждениям, по которым первая группа принимает российскую рожу. Отвергая рожу, люди принимают новое лицо родины и ради этого лица отказываются от своего собственного. Я бы назвал такое отношение к России эмигрантским провинциализмом. Провинциализм, как термин, обозначает несколько различных понятий. Есть провинциализм, как понятие географическое, как понятие культурное и, наконец, как понятие психологическое. Культурный провинциализм является одним из самобытных слагаемых единой русской культуры (Сибирь, Белоруссия, наш Север и т. д.). Это явление положительное, органическое, творческое. Провинциализм психологический или, вернее, как выразитель определенного человеческого типа вообще, характеризуется погоней за столичной формой, жаждой во что бы то ни стало принять эту форму, без возможности напитать ее содержанием оригинала (сто-

---

64 Степун Фёдор Августович.

лица). Этот психологический тип мы можем встретить не только в провинции. Множество столичных жителей, в погоне за передовым взглядом, суждением, обличием, без достаточной внутренней органической подготовки, являются образцами самого типичного провинциализма. Подобным же провинциализмом характеризуется и приведенная мною группа. Она подменяет лишь «столичное» сегодняшним российским. И если российский провинциал являет собою безличное, бестворческое начало, то эмигрантский провинциал представляет из себя такого же творческого ничегока. Российское лицо на нем превращается в мертвую личину, а органический творческий процесс – в лицедейство.

Здесь, на мой взгляд, мы имеем дело с коренными ошибками, проистекающими из неправильного уяснения по существу своему правильных положений. Первое из них: признание сегодняшнего дня в СССР русским днем, а не каким-то промежутком, провалом меж двумя историческими этапами, прошлым – до революции, и будущим – после контрреволюции. Положение несомненно правильное, и все меньше эмигрантов продолжает твердить о провале российской истории. Но одно – назвать происходящее в России русским, другое – отождествить это сегодняшнее с Россией. Поясню на примере. «Базаровщина» это русское явление, но Россия даже 60-х годов это не «базаровщина». Наш эмигрант провинциального типа, эмигрируй он из России не сейчас, а тогда, конечно, постарался бы надеть на себя личину Базарова, ибо этот тип тогда был передовым и модным. В приведенном случае имеет место простейшая логическая ошибка (дерево есть растение, но растение не есть дерево), которая влечет за собою провинциальное низкопоклонство перед сегодняшним преходящим лицом России.

Вторая ошибка в самом понимании слова «приятие». Это понятие весьма растяжимо. Когда эта группа говорит о приятии современной России, то и она не все принимает, отвергая большевицкую «рожу». Но во всем остальном она уже отбора не делает, отказываясь от личного критерия – Россия там, а не здесь (положение правильное, за рубежом русские, а не Россия); она, – моя сила питающая, без меня проживет, я же без нее погибну. А, поэтому, чтобы жить, нужно отказаться от себя ради нее и ради жизни.

Если первое положение верно, то последнее самоубийственно ошибочно. Путь к России лишь от себя к ней, а не наоборот.

Я всматриваюсь и приемлю, но без отказа от себя, от своего критерия. Даже больше: путь к России возможен лишь через самоопределение, через самоутверждение. Отказавшись от себя, от своего опыта революционного и дореволюционного, от своего прошлого, я обращусь в сухую ветвь, которая никогда не привьется к российскому стволу.

Что же я вкладываю в слово «приятие»? Прежде всего, признание за тем или иным явлением органического характера, а это признание диктует и определенный подход к нему. Я не противодействую, не противопоставляю ему упора, своего «нет», а напрягаю свою волю и направляю свое творчество к тому, чтобы использовать этот органический процесс на благо, чтобы напитать его благим содержанием. Подобный подход мы видели на примере отношения церкви к языческим праздникам. Церковь не уничтожила их, а напитала новым благим содержанием.

Отсюда и живучесть христианских праздников. Не потому ли и побеждены мы в белом движении, что проглядели органическое я, революции и приняли ее лишь как борьбу двух идеологий?

При таком понимании «приятия» не только не может иметь места отказ от своего лица, а, наоборот, чем крепче мы самоопределимся, чем яснее будет обнаружено это наше лицо, тем тверже мы будем знать, что нам делать и как нам делать.

Здесь будет уместно обнаружить еще одну существенную ошибку, допущенную эмигрантами провинциального типа.

Она заключается в смешении органических процессов России с тамошними идеологическими увлечениями. В первом случае наше приятие обязательно, во втором – мы совершенно свободны. Поясню на примере. Письма и газеты из России говорят о стихийном тяготении к американизму, наблюдаемом там. Ежели это так, то я, принимая этот процесс, не приму однобокой американской идеологии русской молодежи. Я буду всячески стараться привить русскому американизму близкое мне духовное содержание. Не Достоевского заменить русским янки, а американизм напитать Достоевским. Не лик сузить до лица, а лицо приобщить лику.

Теперь еще об одной группе эмигрантов. Я бы назвал их беспутейцами, ибо нет им путей в Россию. Они имеются и в правом, и в левом лагерях, и в центре. Политический признак при их определении не важен совершенно. Их голоса самые громкие в эмиграции. Они выступают на собраниях, они издают газеты, они вырабатывают десятками программы и резолюции. Они же с неиссякаемой яростью друг с другом полемизируют, несмотря на разительное меж собою сходство. Кто же они? Бывшие люди, – носители бывших догм, вожди бывших партий. И люди, и догмы, и партии провалились. Казалось бы, нужно готовиться к очередному экзамену. Казалось бы, нужно бросить старое тряпье, в котором больше дыр, чем нитей, больше лжи, чем правды, больше отвлеченностей, чем жизни, и больше

политической злобы, чем России. Но нет, старательно перекраивая свои кафтаны, эти бывшие вожди заняты злорадным высматриванием чужих заплат, не замечая своих собственных обнаженностей. Когда они поворачивают свои головы к Востоку, к России, они смотрят, но не видят. Или, вернее, видят, но не реальность, а милые их сердцу мороки. Бог с ними! Нам не по пути.

Каков же наш путь? Он труден, сложен и ответственен. С волевым упорством, без лживых предвзятостей всматриваемся мы в далекие, родные туманы с тем, чтобы увидеть, познать и почувствовать, а следовательно, и принять послереволюционное лицо России, лицо, а не личину, органическое начало, а не преходящую идеологию, и только всмотревшись и увидав, дадим мы действенный и творческий ответ, наш ответ, собственный, личный, нашим я, нашим опытом, нашим credo данный.

ЭМИГРАЦИЯ

Есть в эмиграции особая душевная астма. Производим дыхательные движения, а воздуха нет. Которая весна, лето, осень и зима протекли, а вот не заполнили ни одного времени года – зима, как весна, лето, как осень. Все подменилось черными и красными цифрами календаря. День превратился в бесцветную временную единицу, отсекаемую неумолимым маятником. Желтый свет электрической лампы сменяет белые лучи солнца. И ничего больше.

Мир обесцветился и обезголосился. Словно вошли мы чудесным образом в кинематографический фильм без красок, без солнца, без воздуха, с белесым светом, с серыми лицами и с математическим, а не космическим пространством. Неутомимый тапер годами наколачивает по клавишам победоносный марш. Фильм мелькает, а… дышать нечем. И чем дальше, тем душнее, тем безвоздушнее.

Эта безвоздушность переносится и на человеческие отношения. Никогда раньше встречи с людьми не были столь многочисленны: в России десятки – здесь сотни знакомых. Но следы от тех бывших встреч насколько осязательнее, насколько длиннее, насколько значительнее здешних зарубежных. Как в поезде, перезнакомившись со всеми сопутчиками, забываешь их, пересев на узловой станции в другой, так и здесь – каждый переезд на новое место, каждая перемена службы связана с наплывом новых людей, новых отношений, новых связей и с почти хирургическим изъятием вашего человеческого вчера. Вместо свободного подбора к душевному и духовному сожительству человеческие отношения построены на случайной механической сцепленности.

И ни в чем так явственно не выявилась эта безвоздушность, как в зарубежной литературе. Эмиграция,

столь богатая литературными именами, совершенно лишена своей литературы, художественных произведений, напитанных кровью эмигрантской жизни. «Митина любовь» Бунина, «Золотой узор» Зайцева, «На Блакитном поле» Ремизова. Степуновский «Переслегин», Минцловские рассказы напитаны не здешним, а либо тамошним, либо бывшим. Муратов питается Италией, Алданов историей, и ни один – эмиграцией. А казалось бы есть о чем писать. Казалось бы трагедия нашего изгнанничества достаточно полнокровна для художественного перетворения. И, конечно, кровность этой трагедии не раз будет использована русской литературой в будущем.

Но в чем же дело? Куда исчез весь воздух? Или причиной всему тоска по Родине? Она – душит нас, закрывает глаза и уши, иссушает сердца?

А.В. Пешехонов именно так и отвечает на поставленный вопрос (см. «Волю России» № VII).[65] Он убежден, что громадное большинство эмиграции столь кровно связано с русским бытом, духом, стихией, что не может жить долгое время вне родины, не может органически войти в чуждую среду Запада; что вся эмиграция держится лишь химерической надеждой на скорое, очень скорое возвращение на Родину. Поэтому, рассеивая последовательно ряд миражей, питающих эту надежду, он не видит иного выхода, как либо возвращаться в Россию немедленно

(закрыв глаза на ряд опасностей), либо твердо порешить остаться на чужбине и о возвращении не думать. Разбирая вопрос в личном порядке, он решает его для себя в первом виде: поеду в Россию, как только большевики меня пустят. Единственная задержка, сле-

---

[65] Пешехонов Алексей Васильевич – один из основателей и лидеров партии народных социалистов.

довательно, в формальном моменте – в разрешении большевиков. Для нас этот вопрос решается много сложнее, и к нему мы вернемся ниже, а сейчас рассмотрим причины «безвоздушности» русской эмиграции.

Мы готовы согласиться с г. Пешехоновым, что громадное большинство эмиграции живо надеждой на скорое возвращение, надеждой не только не обоснованной действительностью, но, более того, существующей наперекор ей. Да, эта надежда – главная действующая сила в образовании всего психического и бытового строя эмиграции. Она – основная предпосылка нашего эмигрантского мироощущения во всей его полноте. Мы смотрим не только на жизнь Запада из окон эмигрантского постоялого двора. И взгляд наш не является взглядом жадного на впечатления путешественника, а мертвым глазом застрявшего в пути, раздраженного, опустошенного, ничем, кроме расписания поездов не интересующегося пассажира. Семь-восемь лет живем мы так, брюзжим друг на друга (совсем как в дороге), судим об окружающем нас мире по станционным строениям и буфетным стойкам, тщетно вперяем взгляд в заросшие чертополохом пути, вслушиваемся, не загудит ли долгожданный паровоз, с жадностью ожидаем прибытия свежей партии газет и особенно раскупаем те из них, которые печатают жирным шрифтом о скором прибытии застрявшего поезда. Одни ожидают броневика, изготовленного в мастерских Запада и носящего название «интервенции», другие – что поезд подастся с Востока и будет он сколочен в Московских и Петербургских мастерских под именем эволюции или революции. Но проходят годы, поезда нет и в помине, раздражение растет, мертвящая скука иссушает. Боремся же мы со скукою тоже по дорожному – газетными листами. Пять лет, как под гипнозом слушаем все тот же спор Керенского с Гессеном,

Гессена с Милюковым, Павла Николаевича с Петром Бернгардовичем. Вопрос – кто больше виноват – революционная демократия, старый режим или Временное Правительство, все с той же девственной свежестью разбирается в передовицах. Эмигрантский процесс обратен российскому – в России жизнь побеждает большевизм, здесь – жизнь побеждена десятками идеологий. Свежий воздух и солнечный свет пропускается через ряд политико-идеологических фильтров и спектров. Все кровавое и кровное, пережитое и переживаемое каждым из нас, перерабатывается в бескровную и некровную ходячую политическую формулу.

Вся душность эмигрантского бытия, главным образом, от этих двух причин: ожидание и «идеологичность» (что вовсе не синоним идейности). Ожидание умерщвляет волю к жизни, идеологичность – обесценивает, измельчает и опошляет ее. Ожидание загоняет нас на постоялый эмигрантский двор, «идеологичность» засоряет нам глаза и слух.

Для оправдания своего нежелания видеть, своей бездушности эмигрантская масса восприняла особого рода вульгарное евразийство.[66] «Запад догнивает», «спасение с востока», «кризис безбожного демократизма», «западное мещанство», «механизация жизни и духа» и пр., и пр. – стали ходячими общими фразами. Чаще всего слова эти произносятся теми, кто западной культуры вовсе не знает. Восток представляет себе в виде родного Сивцева Вражка, Тулы, или 9-ой Рождественки на Песках, с атрибутами – самовара, дворника, прислуги, по-старому обставленного дома, по-старому сложившихся патриархальных отношении – всего того,

66 Инициаторами и авторами программной работы – сборника «Исход к Востоку. Предчувствия и свершения. Утверждение евразийцев» (София, 1921) – были П.Н. Савицкий, Н.С. Трубецкой, Г.В. Флоровский, П.П. Сувчинский.

что окружало прежнего обывателя. Русское Православие противопоставляется «безбожному Западу» этими «евразийцами» не в качестве самоценности, а как служебная функция, долженствующая справиться с ненавистным большевизмом (в то же время Муссолини приводит их в восторг, несмотря на борение с ним религиозной части Италии – католичества). Западное мещанство познано из столкновений с квартирными хозяйками, хотя по ядовитости петербургская хозяйка вряд ли уступит немецкой или чешской. А механизация жизни и духа представляется в виде автомобилей, унтергрунда и пр., в то время как подлинной жизни и духа Европы они и не пробовали. Это вульгарное евразийство попросту является линией наименьшего сопротивления. Неприятие и поверхностная критика по плечу каждому, в то время как творческое вхождение в жизнь Запада и со стороны евразийца, и со стороны западника требует волевого напряжения. Я сильно сомневаюсь, чтобы подобный массовый «евразиец», попав так или иначе в современную Россию, почувствовал творческий прилив воли. Ибо именно в современной России, по поступающим оттуда сведениям, пышно расцветает среди молодежи и безбожие, и марксистская механизация жизни и духа (советская мешанина из американизма и коммунизма), и самое бездушное из всех мещанств – нэп. И для того, чтобы бороться с этими явлениями, необходимо противопоставить им и положительную религиозность, и положительную духовность, и положительный идейный аристократизм. Другими словами, пришлось бы идти по линии наибольшего сопротивления. И я почти уверен, что именно этой линии массовый евразиец не выдержит. Для нее необходимо обладать собственным и твердым костяком, а не готовым общим покроем. Костяк же обретается через соприкосновение с жизнью,

как бы она ни была далека нашим национальным навыкам. Входить в жизнь не означает подчиняться. Принимая близкое, я противопоставляю далекому – свое незыблемое. И горделивое – «не поймут», «не примут» – чаще всего бывает признаком, что ни понимать, ни принимать нечего. И, может быть, никогда европейцы не были так жадны на «русское» и даже на «евразийское», как теперь.

Итак, ожидание подсекает корни эмиграции, политическая поверхностная идеологичность обращает эмиграцию в подобие рождественской елки, пышно разукрашенной политическими лозунгами и иссыхающей изнутри, а «вульгарное евразийство» старается подпереть эту елку мертвыми подпорками непрочувствованного сознания своей национальной, евразийской исключительности.

Предчувствую возражения. Первое: порывая с ожиданием возвращения – я вообще порываю связь с Россией; мы эмигранты, а не колонисты, и надежда на возвращение является нашим главным жизненным импульсом.

Прежде всего, предлагая покончить с ожиданием, я не порываю не только с надеждою на возвращение, но тем более с Россией. Ожидание, о котором я говорю, бесплодно и бездейственно по существу своему. Эмигрант, говорящий, что он живет завтрашним днем и что поэтому вся его жизнь в Европе – сплошное пока, сплошное изживание, неминуемо должен придти либо к отчаянию и самоубийству (самоубийства начались давно), либо к сменовеховству, не идейному, а от отчаянной жизни (тоже началось давно). Взамен этого я говорю: надеясь на возвращение в Россию, я готов бороться и за ее освобождение, и за свое возвращение. Но я знаю, что возвращение это может произойти через годы и годы изгнания. Занеси меня судьба на не-

обитаемый остров, я бы напряг всю энергию, чтобы жить. И, не теряя надежды, что вырвусь когда-нибудь на материк, я постарался бы взять от дней все, что можно взять, находясь на необитаемом острове. Останься я сидеть на берегу в ожидании спасительного корабля, я либо помер бы, либо сошел бы с ума. Если сказанное справедливо по отношению Робинзона,[67] то тем более оно справедливо по отношению к нам, находящимся в Европе. Разрыв с Россией, как это ни странно, наиболее резко выявляется у той группы эмигрантов, что ожидает своего возвращения чуть ли не завтра. Именно для них проходят совершенно незамеченными все российские послереволюционные процессы. Именно они ограничивают свою осведомленность в российских делах очередной политической сенсацией. Для связи с Россией и для познания ее требуется все та же творческая воля, у ожидающего эмигранта отсутствующая. Отсюда жадное поглощение эмиграцией красновского «За чертополохом»[68] и полное незнакомство ни с Леоновым, ни с Фединым, ни с Всеволодом Ивановым, ни с Бабелем (та же линия наименьшего сопротивления).

В предыдущей статье своей (№ 6–7 «Пути в Россию») я уже говорил, что связь с Россией, познание России, всматривание в «родные туманы» – является исходной точкой всех наших действий и утверждений. И, думается, для многих переход на эмигрантскую оседлость только облегчит эту связь.

Возражение второе: ополчаясь на политические спектры и фильтры эмиграции, я тем самым лью воду на мельницу разлагателей эмиграции. Эмиграция явление политическое. Политическая идеология тот обруч, который эмиграцию связывает воедино. Мы не

---

[67] Д. Дефо «Робинзон Крузо».

[68] Фантастический роман П.Н. Краснова «За чертополохом».

обыватели, а политические борцы. Отказаться от идеологии означает демобилизацию эмиграции, разложение ее, превращение борцов, вынужденных на временное бездействие, в обывательскую толпу.

Считаю глубочайшей ошибкой определение большинства эмиграции, как политической. За исключением нескольких немногочисленных групп ее, являющихся политическими, вся остальная масса определяется совершенно иным, не политическим признаком. Громадная часть эмиграции порождена добровольчеством (как теперь называют – белым движением). Добровольчество в основе своей было насыщено не политической, а этической идеей. Этическое – «не могу принять» решительно преобладало в нем над политическим «хочу», «желаю», «требую». В атом «не могу принять» была заключена вся моральная сила и значимость добровольчества. И, когда военная борьба кончилась поражением, добровольцы принесли с собой на чужбину все то же «не могу принять», являющееся главнейшим обоснованием и оправданием эмиграции. Это-то и есть обруч, стягивающий эмиграцию воедино, это-то и отличает современную российскую эмигрантскую массу от сословной монархической эмиграции Франции и от старой русской социалистической.

Но время добровольческой борьбы прошло, и сейчас антибольшевицкая работа сосредоточивается в ряде политических групп. Внешние и внутренние условия требуют совершенно иных методов борьбы. Тактика, приспособление к внешним условиям, связь с действительными антибольшевицкими группами в России являются уже задачами чисто политической работы, требующей кроме героизма качеств, я бы сказал, специфических. Хороший добровольческий офицер оказывается сплошь да рядом никаким подпольным

борцом. Патриотизм, самоотверженность, ненависть к большевикам и даже сильно выраженное влечение к тому или иному политическому строю – недостаточны. Необходимо обладать особым психическим складом и редкой совокупностью способностей, чтобы отправиться в Россию для пропаганды, или для свершения террористического акта, или для связи с намеченной Российской группой. Дай Бог, чтобы двухмиллионная эмиграция выделила, в конечном итоге, несколько тысяч (м. б. сотен?) политических бойцов. (Правда, возможна еще борьба с большевиками, так сказать, на «западном фронте», наподобие той, что ведут русские социалисты с западными. Но для этого необходимо войти в западную жизнь. И здесь требуется тщательный отбор работников.) Что же делать остальным? Некоторые политические группы полагают, что вся эмигрантская масса должна быть втянута в политическую работу и борьбу. Эти группы измеряют свой удельный вес арифметическим подсчетом сочувствующих им эмигрантов. Но они не учитывают, что эмигрантское арифметическое количество – мертвый груз; что здесь имеет место все тот же выбор линии наименьшего сопротивления; что в лице этих тысяч и тысяч они обретают не борцов, а только чающих; что если эти чаяния удовлетворены не будут, то вся масса схлынет и начнет ломиться в Другие двери. Подобное втягивание окончится печально как для той, так и для другой стороны.

Необходимо утвердиться в мысли, что этап «кавалерийского наскока» сменился «окопным сидением». Необходимо произвести раздел эмиграции политической от пребывающей по признаку «не могу принять»; насущнейшими задачами второго типа эмиграции являются – самоустройство на годы жизни за рубежом, пробуждение в себе воли к жизни, максимальная

взаимопомощь, культурная и материальная, максимальная связь с Россией всеми возможными путями и уничтожение перегородок, отделяющих эмиграцию от окружающего мира. Нужно найти правильную линию общения с окружающей средой, чтобы оно не вылилось в денационализацию. Книга о детях эмиграции, выпущенная под ред. Зеньковского,[69] вскрыла грозную опасность, надвигающуюся на эмигрантское молодое поколение. Для завоевания сносных условий жизни, для работы на культурном эмигрантском фронте, для создания объединений, преследующих указанные цели, сделано по сравнению с тем, что должно и что можно – мало. Укрепление и рост материальной и культурной базы зарубежной России – боевая задача сегодняшнего дня, и от того, будет ли она выполнена, зависит самое бытие эмиграции. В этом деле не может быть ни правых, ни левых, – есть люди, объединенные одной культурой, одним языком, одним этическим неприятием большевизма. Сейчас борьба за существование – духовное и материальное, за исключением небольшого числа очагов, ведется разрозненно, часто каждым в одиночку и все по той же причине выжидания. Нужно объединить отдельные усилия, влить эту работу в организованные формы во всеэмигрантском масштабе, отмежевав ее от политической полемики и политического разъединения. Если это не будет выполнено, то от эмиграции через несколько лет останется политическая ее часть, а главная масса либо денационализуется, либо, опустошенная вконец, вернется в Россию.

Но, может быть, возвращение в Россию через советские полпредства и есть лучший выход из тяжкого, безвоздушного, эмигрантского бытия? Может быть,

---

[69] Сборник статей «Дети эмиграции» (Прага, 1925).

прав А.В. Пешехонов, задерживающийся меж нами, эмигрантами, до получения необходимой печати на паспорте? Следуя его разумному примеру, позволю себе и я разрешить этот вопрос лишь в личном порядке. Наши положения несхожи: как рядовому бойцу бывшей Добровольческой Армии, боровшейся против большевиков, возвращение для меня связано с капитуляцией. Мы потерпели поражение благодаря ряду политических и военных ошибок, м.б. даже преступлений. И в тех, и в других готов признаться. Но то, за что умирали добровольцы, лежит гораздо глубже, чем политика. И эту свою правду я не отдам даже за обретение Родины. И не страх перед Чекой меня (да и большинство моих соратников) останавливает, а капитуляция перед чекистами – отказ от своей правды. Меж мной и полпредством лежит препятствие непереходимое: могила Добровольческой Армии.

Содержание

Сергей Яковлевич Эфрон

Автобиография.
Записки добровольца

16+

Ответственный редактор *А. Иванова*
Корректор *М. Глаголева*
Верстальщик *С. Мартынович*

Издательство «Директ-Медиа»
117342, Москва, ул. Обручева, 34/63, стр. 1
Тел/факс + 7 (495) 334-72-11
E-mail: manager@directmedia.ru
www.biblioclub.ru
www.directmedia.ru

Отпечатано в ООО «ПАК ХАУС»
142172, г. Москва, г. Щербинка,
ул. Космонавтов, д.16